

1957

День

мозги

1957

П. АНТОКОЛЬСКИЙ
П. АРСКИЙ
Э. АСАДОВ
Н. АСЕЕВ
В. АЗАРОВ
Б. АХМАДУЛИНА
А. БАРТО
И. БАУКОВ
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ
Я. БЕЛИНСКИЙ
Ф. БЕЛКИН
В. БЕРШАДСКИЙ
Е. БЛАГИНИНА
Д. БЛЫНСКИЙ
В. БОКОВ
А. БОРОВКОВ
Н. БУКИН
К. ВАНШЕНКИН
С. ВАСИЛЬЕВ
Е. ВИНОКУРОВ
Н. ВРТАКОС
М. ГЕРАСИМОВ
Г. ГЕРОЛЬД
Л. ГИНЗБУРГ
М. ГОДЕНКО
А. ГОЛЕМБА
М. ГОСЛОДНЫЙ
Д. ГОЛУБКОВ
В. ГОНЧАРОВ
В. ГОРДЕЙЧЕВ
Ю. ГОРДИЕНКО
В. ГОРДИЕНКО
Н. ГРЕБНЕВ
В. ГУРЬЯН
Р. ДЕПЕСТР
Ш. ДОБЖИНСКИЙ
Е. ДОЛМАТОВСКИЙ
И. ДОРОНИН
А. ДОСТАЛЬ
И. ДРЕМОВ
Ю. ДРУНИНА
Б. ДУБРОВИН
Е. ЕВТУШЕНКО
А. ЖАРОВ
П. ЖЕЛЕЗНОВ
М. ЖОХОВ

В. ЖУРАВЛЕВ
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ
В. ЗАБЕЛЬШИНСКИЙ
В. ЗВЯГИНЦЕВА
М. ЗЕНКЕВИЧ
А. ИВАНОВА
В. ИНБЕР
Э. ИОДКОВСКИЙ
М. ИСАКОВСКИЙ
Ш. ИШВАРДАС
Х. КАДМОН
В. КАЗИН
Л. КИМ
В. КИРИЛЛОВ
С. КИРСАНОВ
И. КОБЗЕВ
А. КОВАЛЕНКОВ
Я. КОЗЛОВСКИЙ
О. КОЛЬЧЕВ
А. КРОНГАУЗ
Л. КОНДЫРЕВ
А. КУДРЕЙКО
В. КУЛЕМИН
М. КУРГАНЦЕВ
В. ЛЕВИК
Г. ЛЕВИН
К. ЛЕОН
Н. ЛЕОНТЬЕВ
М. ЛЬВОВ
В. ЛИСКЕР
И. ЛИСНЯНСКАЯ
М. ЛИСЯНСКИЙ
В. ЛИФШИЦ
Т. ЛИХОТАЛЬ
В. ЛУГОВСКОЙ
В. ЛУЗГИН
К. ЛЯСКО
Э. МАККОЛ
Д. МАКСИМОВИЧ
А. МАНДАЛИАН
А. МАРКОВ
Л. МАРТЫНОВ
С. МАРШАК
М. МАТУСОВСКИЙ
А. МЕЖИРОВ

ДЕНЬ
ПОЭЗИИ

1957

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

*П. АНТОКОЛЬСКИЙ, К. ВАНШЕНКИН В. ЛУГОВСКОЙ,
Л. МАРТЫНОВ, Л. ОШАНИН, Я. СМЕЛЯКОВ,
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Я. ХЕЛЕМСКИЙ, А. ЯШИН.*

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, ДОБРЫЙ НАШ ДРУГ!

Мы сегодня вновь встречаемся с тобой на страницах коллективной книги «День поэзии».

Этот год в истории нашего народа — особенный: он озарен светом великой даты сорокалетия нового мира, мира, который стал для нас уже обжитым, мира, в котором каждый день, каждый час свершаются удивительные деяния.

У всех на памяти, у каждого в сердце эти свершения — от рождения Днепрогэса и Магнитки до первой в мире атомной электростанции, от кружков ликбеза до всеобщего десятилетнего обучения, от покорения Северного полюса до освоения в одну весну миллионов гектаров целины или создания первого искусственного спутника Земли.

Самый воздух нашей страны насыщен творчеством, пронизан поэзией.

Мы хорошо понимаем, что книга, которую мы передаем в твои руки, читатель, в преддверии большого праздника, далеко не полностью отражает высокую поэзию нашего времени хотя бы потому, что в ней участвует лишь один отряд советских поэтов — русские поэты-москвичи. Пусть не все стихи в книге равноценны, но все они написаны от чистого сердца, продиктованы любовью к народу, верностью Родине и партии, ведущей наш народ к коммунизму.

Нынешний год — год VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Мы пригласили поэтов — гостей фестиваля принять участие в книге. Ведь в эти дни они

все стали на время москвичами, независимо от того, откуда они прибыли — из Болгарии или из Чили, из Вьетнама или из Франции, из Ленинграда или Смоленска.

Нашим зарубежным гостям мы посвятили второй раздел книги, охотно взявшись за переводы их произведений на русский язык.

В этой книге рядом с живыми по праву присутствуют и те, кто ушел от нас, — их голоса продолжают звучать, трогая людские сердца. Певцы первых лет революции и солдаты Великой Отечественной войны, мастера советской поэзии и те, чей творческий путь лишь начинался, — они всегда с нами, их стихи остаются в строю. Среди них — наш верный товарищ, член редколлегии обеих книг «День поэзии», чей талант так чудесно развернулся в последние годы, — Владимир Луговской.

Нам хочется верить, что эта книга, при всех ее возможных несовершенствах, полюбится тебе, дорогой читатель, разделит с тобой часы досуга и раздумий, пробудит в тебе интерес ко многим молодым именам, впервые появляющимся в печати, упрочит твою дружбу с уже знакомыми тебе поэтами.

В этом году, по уже установившейся традиции, мы снова проводим День поэзии в книжных магазинах Москвы, где мы непременно встретимся с тобой.

Пусть же эта встреча накануне великого праздника послужит еще большему укреплению нашей дружбы, невиданной прежде на земном шаре, дружбы единомышленников — строителей нового мира!



С Ч А С Т Ь Е

Что такое счастье? Соучастье
В добрых человеческих делах,
В жарком вздохе разделенной страсти,
В жарком хлебе, сжатом на полях.

Да, но разве только в этом счастье?
А для нас, детей своей поры,
Овладевших над природой властью, —
Разве не в полетах сквозь миры?

Безо всякой платы и доплаты,
Солнц толпа, взвивайся и свети,
Открывайтесь, звездные палаты,
Простирайтесь, млечные пути!

Отменяя летоисчисленье,
Чтобы счастья с горем не смешать,
Преодолевая смерть и тленье,
Станем вечной свежестью дышать...

Воротясь обратно из Зазвездья
И в слезах целуя землю-мать,
Мы начнем последние известья
Из глубин вселенной принимать.

Вот такое счастье — по плечу нам —
Мыслью осветить пространства те,
Чтобы мир предстал живым и юным,
А не страшным мраком в пустоте!

ОКТАБРЬСКИЙ ВИХОРЕЬ

Октябрьский вихорь спящих будит
На бурных митингах своих,
Не шутит он, а грозно судит
О всем, что было, есть и будет, —
Октябрьский вихрь, октябрьский вихрь
Он в корабельной свищет снасти,
Казнит последышей династий,
Сулит купечеству ненастье,
Банкротов губит биржевых,
Скликает пригороды в город
И, распахнув свой потный ворот,
С одною смертью насмерть спорит
И оставляет жизнь в живых.

С ним подружились мы однажды,
Когда на Кремль солдаты шли.
Рты запеклись от жгучей жажды.
Мы были голодны, но каждый
Мечтал о счастье всей земли.
О, тусклый отблеск туч свинцовых
На ржавой жести крыш дворцовых,
О, грязь в домах, о, страх жильцов их
Пред благодушием солдат!
О, как нам весело бывало,
Когда рядам людского шквала
История передавала
Свой наспех писанный мандат!

МОЙ ДРУГ

«Да будет лицо твое светлым!» —
В Египте мне друг говорил.
Он песнями славил Россию,
Свободу он страстно любил.

Прислали мне весть из Египта:
В развалинах город лежит,
Мой друг молодой в Порт-Саиде
Английскою бомбой убит.

Не скоро забудется горе,
Не скоро угаснет печаль.
В Москве не увидел я друга,
Прошел без него фестиваль!

«Да будет лицо твое светлым!» —
В Египте мне друг говорил.
Он песнями славил Россию,
Свободу он страстно любил.

Белла АХМАДУЛИНА

Ц В Е Т Ы

Цветы росли в оранжерее.
Их охраняли потолки.
Их корни сытые жирели,
и были лепестки тонки.
Им подсыпали горький калий
и множество других солей,
чтоб глаз анютин желто-карий
смотрел круглей и веселей.
Цветы росли в оранжерее.
Им дали света и земли,

не потому, что их жалели
или надолго берегли.
Их дарят женщинам на память,
но страшно им своей судьбы —
ведь никогда им так не пахнуть,
как это делают сады.
Им на губах не оставаться,
им не раскачивать шмеля,
им никогда не догадаться,
что значит мокрая земля...

С ДОБРЫМ СЧАСТЬЕМ!

С добрым счастьем!
Это пожеланье —
Букв, нам незнакомых, начертанье —
Память о тысячелетней были
Камни Херсонеса сохранили.

Вот проходит девушка с матросом
В дом, в котором небо служит крышей;
Золотым венком сверкают косы,
Синий якорек на платье вышит.

В глубину забытого колодца
Заглянула.
— Нет, вода не льется.

Лишь года
Песок пересыпают,
Где кипело
Быстрых струй движенье,
Где встречала девушка другая
Мореплователя отраженье.

Видишь —
Галькой выложен прибрежной
Той портрет, что повторяла нежно:
С добрым счастьем!
Погляди на эту
Бронзовую темную монету.

Ты увидишь очертанье девы,
Не богини и не королевы,
Девушки прекрасной, смуглокожей,
Чудится, с тобою чем-то схожей.

...Замечают девушка с матросом —
Тусклый уголек был горсткой проса.
Ржавчины комок, лежащий рядом,
Был ножом для резки винограда.

По уступам каменных давлен
Виноградный сок стекал обилен.
В прорезь этой костяной свирели
Песни Диониса прозвенели.

Клятву повторяли здесь герои:
Небом, Солнцем,
Морем и Землею
Присягнув,
Вставали, защищая
Мирный труд полуденного края.

Город твой
Не утрашило горе.
За него
Матросы шли в сраженье,
Чтобы навсегда сияло в море
Юности веселой отраженье.

Синий якорек на платье вышит,
Золотым венком сверкают косы...
В доме том, где небо служит крышей,
Улыбнулась девушка матросу.
В глубину забытого колодца
Заглянула.
— Нет, вода не льется.

Но тебе туда глядеть не надо,
Ведь любимый здесь,
С тобою рядом.
Тронутый веками,
Дрогнул камень,
Облачко прошло перед глазами.

В бриз и в бурю,
В солнце и в ненастье
Склянки выбивают:
С добрым счастьем!
Там, где встал
На побережье цоколь —
Золотой и белый Севастополь!

БАЛЛАДА О БУЛАНЕ «ПЕНСИОНЕРЕ»

Среди пахучей луговой травы,
Недвижный, он стоял, как изваянье,
Стоял, не подымая головы,
Сквозь дрему слыша птичье щебетанье.

Цветы... ручьи... Ему-то что за дело?!
Он слишком стар, чтоб радоваться им:
Облезла грива, морда поседела,
Губа отвисла, взгляд подернул дым...

Трудился он, покуда были силы,
Пока однажды, посреди дороги,
Не подкачали старческие жилы,
Не подвели натруженные ноги.

Тогда решили люди: — Хватит, милый!
Ты хлеб возил и веялки крутил.
Теперь ты конь — без лошадиной силы,
Но ты свой отдых честно заслужил!

Он был на фронте боевым конем,
Конем рабочим, слыл для всех
 примером.
Теперь каким-то добрым шутником
Он прозван был в селе «Пенсионером».

Пускай зовут, ему-то что за дело?!
Он чуток только к недугам своим:
Облезла грива, морда поседела,
Губа отвисла, взгляд подернул дым.

Дни — что везы: они ползут во мгле...
Вкус притупился. Клевер, как бумага...
И кажется, ничто уж на земле
Не оживит и не встряхнет конягу.

Но как-то раз, округу пробуждая,
Примчалась песня из-за дальних хат.
То конных пограничников отряд
Входил в село, маневры совершая.

И над садами, над уснувшим плесом,
Где в камышах бормочет коростель,
Рассыпалась трубы медногласой
Горячая, раскатистая трель.

Как от удара, вздрогнул старый конь!
Он разом встрепенулся, задрожал,
По сонным жилам побежал огонь,
И он вдруг, вскинув голову, заржал!

Потом пошел... Нет, нет: он поскакал!
Нет: полетел! Под ним земля качалась!
Подковами он пламя высекал!
По крайней мере, так ему казалось...

Майор окинул строй привычным взглядом
И вдруг привстал в седле:
 держа равненье,
Шел конь без седока и снаряженья,
Пристроившись к хвосту его отряда...

Майор воскликнул: — Толк ведь есть в коне!
Как видно, он знаком с военным строем.
И, старика похлопав по спине,
Он весело сказал: — Привет героям!

Четыре дня в селе стоял отряд.
«Пенсионер» то был на стрельбах в поле,
То, как дежурный, обходил наряд,
То важно шел на рубку лозы к школе.

Он сразу точно весь помолодел:
Стоял ровнее, шел — не спотыкался,
Как будто шкуру новую надел,
В живой воде как будто искупался.

Однажды,
В час, когда вставал закат,
Труба пропела боевой сигнал.
То навсегда деревню покидал,
Пыля проселком, конников отряд.

«Марш-марш!» — И только холодок в груди,
Да ветра свист, да бешеный карьер!
И разом все осталось позади:
Дома, сады и конь «Пенсионер».

Пылал камыш, багряный, как костер,
Упругий шлях подковами звенел.
Взглянул назад на всем скаку майор,
Взглянул назад—и тотчас потемнел:

С холма, следя за бешеным аллюром,
На фоне догорающего дня
Темнела одинокая фигура
Вдруг снова постаревшего коня...

ИЗ ПУТЕВЫХ ТЕТРАДЕЙ

ПО ДОРОЖКЕ, ПО БУЛЬВАРУ

Блещут горы снеговые
Белизной,
А внизу, в садах Софии,
Летний зной.

Под снежными Балканами
Акации цветут.
Лилянми, Цветанами
Тут девочек зовут.

Лиляна и Цветана,
Две маленьких болгарки,
В Софии утром рано
Катали обруч в парке.

--Катись, мой обруч желтый!--
Цветана пела вслед. —
Хочу, чтоб обошел ты
Все страны, целый свет.
По дорожке,
По бульвару,
По всему земному шару!

И, подружке помогая,
Пела девочка другая:

— Катись, мой обруч желтый,
Как солнышко свети!
Куда бы ни зашел ты,
Не свертывай с пути.
По дорожке,
По бульвару,
По всему земному шару!

Веселый детский обруч,
Пройди по всей планете.
Тебя с приветом добрым
Не зря послали дети.

По дорожке,
По бульвару,
По всему земному шару.

София. 1957 г.

ПРЕСТУПНЫЙ АДАМ

Тут в парке коляски,
Коляски, коляски...

Откроет малыш
Свои сонные глазки—
Пред ним на афише
Бандит в полумаске.

Тут прыгают в пропасть,
Бросаются с крыши,
Тут в парке афиши,
Афиши, афиши...

Какие тут книжки
В красивом киоске!

Как яркие обложки!
Названия броски!

— Вот книжка для дам:
«Преступный Адам».
Купите, мадам,
За марку отдам!

Почтенную бабушку
Внук тербит:
— Ты купишь мне книжку
«Веселый бандит»!

А девочка просит:
— Я вырасту, мама,
Купи мне в подарок
Такого Адама!

Западный Берлин. 1957 г.

ДЕТСТВО

Мне кажется,
Что я ребенком не был
И не бродил по лужам и песку,
Что жизнь моя под синевою неба
Узнала сразу радость и тоску.

Мне кажется,
Что я родился взрослым,
Когда шумели саблями поля,
Когда сновали в кожанках матросы
И расцветала флагами земля.

Знамена, флаги,
Песни о грядущем,
Как будто песня только родилась.
Но вот качнулся впереди идущий, —
Кровь на рубашке сгустком запеклась.

Октябрь! Октябрь!
Клубился дым в лазури,
И нарастала в воздухе гроза.
Я помню ночь, разбуженную бурей,
И матери печальные глаза.

По улицам скакали гайдамаки.
Прожектор рвал испуганную тьму.
И все замрет, казалось, в этом мраке,
И радости не будет никому.

Был тяжек бой в те памятные годы.
Но понял я, что в гуле канонад
Народ, идущий в битву за свободу,
Сильней в стократ орудий и гранат.

Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ

ТАНК № 207

Пробиться к Прагер-плац рывком
не удалось.
Орудья, скрытые в вечернем полумраке,
Простреливали улицу насквозь,
Отрезав нам дорогу для атаки.

Зальцбургер-штрассе так была узка,
Таким огнем наполнена до края,
Что приказал полковник, чтоб войска
На магистраль не делали броска,
В ее тисках бесцельно погибая.

Мы в переулках сгрудились. Беда!
Бессильны люди, ружья, пушки, танки.
Мы не знавали в прошлом никогда
Такой бесславной, горестной стоянки...

Но вот комкор штабистов подозвал,
И слово «есть!» над миром прозвучало.
Никто не слышал, что он им сказал,
Но все смогли услышать зов сигнала.

И в тот же миг
огромный танк «И. С.»,
На всем ходу — как смерч огня и стали —
Из переулка вылетев, исчез
В тугой теснине мертвой магистрали.
Зальцбургер-штрассе узенький пролет
Стальной гигант закрыл широкой грудью...

Войска лавиной ринулись вперед,
За танком встали грозные орудья.

Когда же стихла огненная вьюга,
Мы собрались вокруг умершего друга.

Мы в памятнике бронзой оживим
Твою броню, могучие колёса...

Товарищи!
Склонитесь перед ним:
Он жил, как танк,
а умер, как Матросов.

КТО СИЛЬНЕЕ

Кто сильнее:
Река,
Что крушит берега с разбега,
Или маленькая рука
Человека?..

Говорила река:
— Бурых скал я размыла бока,
Под мостом повалила быка,
А вчера в половодье
Четыре клыка
На Падунском сломала пороге, —
Не торчи у меня на дороге!
Буду течь, как текла я, века и века,
А нести я хочу лишь одни облака...

Но легла на рубильник рука —
И, турбины крутя, подчинилась река,
Перед силой руки робея.
И сказал человек:
— Пока!
Есть в Сибири еще река,
Надо будет заняться ею...

Федор БЕЛКИН

ДУБ

Сто ветров трепали шубу.
Век стоит он с гордым чубом.
Но одно не спилось дубу,
Что ему шуметь у клуба...

И монтер явился — весел,
Он, ветвей касаясь тонких,
Три струны на дуб повесил,
Три серебряных и звонких.

Ожил дуб — румян от зорьки,
Шлет листву за птичьей стайкой.
И стоит он на пригорке,
Словно парень с балалайкой.

ГУСАК

Идет по утренней равнине
В одеждах белых, словно бог.
Ему грудастые гусыни
Бубнят про кашу и горох.

Гусак и сам глядит на жито,
Ромашку в клюве закусил;
Сафьяном чоботы прошиты,
Каких и Грозный не носил.

Свои привычки и поверья.
Но гусь он всюду и везде...
В крылах державинские перья,
А пишет лапой по воде!

РЕБЕНОК

Теплоход — как город беспредельный.
Тронув безмятежностью сердца,
Крепко спит ребенок двухнедельный
На руках у смуглого отца.

Что ж, на свете меньше будет горя
И вражда коснется нас едва ль,
Если детство с соской через море
Едет на Московский фестиваль.

ДОЖДЬ

Дождь воду льет на землю флягами.
Ему передохнуть пора бы!
Накрылись, как зонтами, флагами
Ливийцы, русские, арабы.

Дождь кажется нам бесконечною
Журчащей, плещущей бедою.
Но дружбу юности сердечную
Не разольешь теперь водою.

ЦВЕТЫ

Летят букеты роз, гвоздик
За парапет причальный.
Есть у живых цветов язык
Интернациональный.

Мир. Дружба. Равенство. Любовь.
Река. Колосья. Поле.
Слова мы эти учим вновь,
Как их учили в школе.

ЮНЫЕ ЕГИПТЯНЕ

В музее саркофаги строгие —
Оружье, черепки и кости.
Волнуясь, в зал египтологии
Вошли египетские гости.

Шуршат папирусы, которые
Когда-то клали в пирамиду...
Да, наш народ сберег историю
И юность их не дал в обиду.

У ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ В ОДЕССЕ

Вернулись негры из Москвы,
И каждый так смотрел на эту
Литую бронзу головы,
Как будто отвечал поэту:

— Я буду, Пушкин, много дней,
Припоминая сны живые,
Под небом Африки моей
Вздыхать о солнечной России!

СЕНОКОС В РАЗЛИВЕ

(Из поэмы)

Над озером рассвет.
Конец июля.
За оком уплыл туман седой,
И у протоки, словно в карауле,
Кусты ольхи застыли над водой.

Шуршат у ската волны, заливая
До щиколоток ноги тонких ив.
Качается на волнах, как живая,
Зарница, опрокинувшись в Разлив.

На берегу — налево и направо —
В тяжелых росах синие луга.
Куда ни глянь — тебе по пояс травы, —
Коси, суши и складывай в стога.

Гудят вдали, за лесом, паровозы.
Под утро скорбный плач гудков растет.
А тут спокойно.
У большой березы
Стоит шалаш, дымит всю ночь костер.

Тут по-лесному все обычно, просто.
Но я запомню этот край навек,
Где косит сено
Небольшого роста
Сорокалетний крепкий человек.

Стога, поодаль разбредаясь, застыли.
Косец садится у огня; продрог.
И треплет волосы его густые
Пропахший свежим сеном ветерок.

Плывет тревожно песня над Разливом,
То смолкнет, то послышится опять.
Далекая, с угрюмым переливом,
Она рассвету хмурому под стать.

Косец кладет бумагу на колени
И быстро пишет...
(Тихая пора...)
Ложатся от костра косые тени,
А звезды — словно искры от костра.

Потрескивают робко головешки,
И пламя в чайник хочет заглянуть.
Спокойны и сощурены в усмешке
Глаза косца, раскосые чуть-чуть.

Задумавшись и вдаль куда-то глядя,
На серый пробуждающийся край,
То волосы, как лысину, погладит,
То тронет подбородок невзначай.

*

* *

Кто знал, что у него борода сбрита,
Не волосы под кепкой, а парик?
...Звенела ругань, цокали копыта,
Смотрел из каждой подворотни шпик.

Стучали где-то гулкие колеса.
Солдатской песни слышался мотив.
Кто знал, что в эту пору сенокоса
Был штабом Революции
Разлив.

А где-то там, за сотни верст отсюда,
Читал газету по складам мой дед
Про жизнь свою,

Про жизнь простого люда,
Про то, кем люд простой разут, раздет.
Читал мой дед крамольную газету,
И у крестьян сжимались кулаки:
«Пока хозяин жив,
Нам жизни нету.
Нам счастья нет,
Пока мы батраки».

Спокойно люди заходили в сени,
Не отрывали от газеты глаз.
— Писал-то кто такую правду?
— Ленин.
— Видать, батрак...
— Видать, не хуже нас.

Кто знал, что это ленинское слово,
Проникшее в далекое село,
Им рождено
У шалаша лесного,
Где по ночам от белых рос светло.

Кто знал: когда дремала вся округа,
Он в темноте встречал у ивняка
Дзержинского,
Испытанного друга,
Надежного связного от ЦК.

Все так же звонко цокали копыта,
Смотрел из каждой подворотни шпик:
«Где Ленин, где его подполье скрыто?»
Но ни следов, как прежде, ни улики...

«Где Ленин, где?»
Но поиски бесцельны.
Он с толку сбил жандармов и гусар.
Он далеко. На станции Удельной.
Вчера — косец,
Сегодня — кочегар.

А завтра,
Всколыхнув земные шири,
Чтобы зажечь во тьме веков зарю,
В последний бой, что начат в древнем мире,
Он поведет Россию
К Октябрю.

Елена БЛАГИНИНА

ПЕСНЯ О ВЧЕРАШНЕМ ДНЕ

Хирели дети на глазах,
Был хлеб замешан на слезах,
И вытоплена печь бедою...
На улице мороз крепчал,
Красноармеец в дверь стучал,
И мы делились с ним едою.

О, эта нищая беда
И эта тощая еда:
Ведь только сели, — все уж съели!
Покамест пили кипяток,
Сырых картофелин пяток
Совала мать в карман шинели.

Боец вставал, благодарил:
— Спасибо, — тихо говорил. —
Как лучше выйти из слободки?
...Мешок свой долго собирал,
И плед отец мой раздирал
Бойцу на теплые обмотки.

Красноармеец уносил
С собой немного свежих сил
И память о тепле домашнем...
Нет! Не слагать стихи, не петь,
А медью надобно звенеть
Об этом грозном дне вчерашнем!

*
* *

Заполночь. Пропели петухи.
Дремлют в книжных томиках стихи.
Погасили свет в библиотеке.
Перестала хлопать дверь аптеки.
А в райкоме свет,
Там покоя — нет!

Лошади давно хрустят сенцом,
Губы шелестят в мешках овсом,
Возчики озябше дуют ртами,
Меряются силой, бьют кнутами.
«Скоро ли?»
А в окнах тот же свет.
«Нет».

На морозных стеклах встала тень,
В сад шагнула, дальше — за плетень.
Это первый секретарь, наверно.
Рама чуть подрагивает нервно,
Стекла излучают тонкий звон,
Это — он!

Та же тема: хлеб, весенний сев,
Не для сельских речь его — для всех.

Коммунистам даже в ночь не спится,
Как мечтаньям ленинским не сбыться,
Если люди есть —
Некогда присесть!

Кончилось. Час ночи. Все идут
И опять дискуссии ведут,
На ходу у коновязи курят,
Все еще кого-то критикуют,
Будто из больших печей,
Неостывший жар речей.

Первый полоз нежно заскрипел,
Песню подорожную запел.
Кони захрапели и заржали, —
Как их нонче долго продержали, —
Ладно, что овес
Был хорош!

Хороши в полях белы снеги.
Выстоялся конь, теперь беги!
Люди в санях мчатся, мчатся,
Чтоб в новый день смелей стучаться.

НАША ВОЛЯ

Зародилась наша воля вольная
Не в лесу дремучем, не в степи.
Нам ее от Ленина из Смольного
В Октябре матросы принесли.

У нее лицо ветрами сушено,
Оспа провела свои бразды.
А в глазах глубоких правда сушая
Излучает пять лучей звезды.

Речь груба, проста и неизысканна —
Кипяток крутой в котле людском!
Было ль время нежности подыскивать,
Если разговор вели штыком!

Узнают ее по твердой поступи,
По походке смелой, волевой.
Вот она — кровавым, красным лоскутом,
Огненным ручьем над головой.

Вот она!
Сияньем мир затмила!
Как стрела, вперед летит рука!
Никакой запрет теперь не в силах
Взять ее и снять с броневика!

Правнукам,
Праправнукам запомнится,
Вечно будут люди вспоминать,
Как за волей вольной вышла вольница
Кандалы и цепи рабства рвать!

ГОЛУТВИН

Не арфы звон,
Не нежный голос лютни —
Со всех сторон
Гремит, поет Голутвин.

То вспыхнет автоген,
Как молния ночная,
То всхлипнет вой сирен,
Где магистраль речная.

То охают пары
В депо или котельной,
То электропилы
Высокий, чистый тенор.

А то гудит гудок:
— Кон-ча-а-а-й рабо-о-о-ту!
А вот уже дружок
Собрался на охоту.

В разбеге дня
С улыбкой, смехом дружным
Везде меня
Теснят простые блузы.

А если руку жмут,
Мозоли, словно рашпиль.
С такой братвою тут
Хоть где не страшно!

Мне чаща душ людских
Нужна, как воздух.
От них идет мой стих
И ласковый и грозный.

Машинный лязг колес
Влетает в шум перронный.
Бежит стальной колосс,
Родившийся в Коломне.

А вот она сама,
Черней цыганки черной.
Голутвина дома
Бок в бок идут с Коломной.

Дымы!... дымы!...
Все небо — будто вереск.
Эх, друг! Да мы
Такая сила, что не смеришь!

МИР

Слово «мир»
Произносится всюду:
В шахтах,
В штольнях,
В широких цехах.
Это слово
И я не забуду
Помянуть
И прославить
В стихах.

Пусть его
Журавлей караваны
В поднебесье планеты
Несут!

Пусть его
С подовым караваем
Вместо соли
На стол подают!

Пусть оно,
Это слово,
Как зори,
Светит всюду
В простые сердца!
Пусть при нем
Расступается горе
И уходят
Морщины с лица!

ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА

Летит почтовый экипаж
В районы отдаленные,
Чтоб в тот же день его багаж
Был роздан почтальонами.
Идет на малой высоте
Над нивами, над хатами.
Не отставая, по земле
Несется тень косматая.
Дорог коснется и телег,
Автомашин нагруженных
И продолжает дальше бег.
Летит воздушный труженик.
Тряхнет воздушная волна,
Над лесом в крен положит.
Насквозь до дна река видна.
Купальщики в ней — тоже.
В воде, в оврагах тень-гонец,
Не уставая, рыщет.
Повергла в панику овец
Внизу на полдневище.
Веселый, праздничный народ
Идет на луг колхозный.

Летит над ними самолет,
Фанерный, свой, стрекозный.
Растет, белеет новый дом
Ажурным перекрытием...
Махнул приветливо крылом
Старателям-строителям.
Наметан глаз. Расчет с прямой
Скользит как будто вниз с горы;
Садится вестник областной,
Чуть не задев за изгородь.
Торопит дед-почтарь вожжей
Лошадку-старушенцию.
«Здорово, батя! Вот мешок,
Бери корреспонденцию.
Проверьте все по накладной:
Газет последних связки,
Мешок с печатью страховой,
Кино — железный ящик...»
Мотору — газ... И понеслась,
Крылатая и скорая,
Летит своя, родная связь
Над местными просторами.

Николай БУКИН

ПЕСНЯ О МОСКВЕ

Уходил осенний вечер
Потихоньку прочь,
И шагнула нам навстречу
Лондонская ночь.

Угасал над Пиккадилли
Водопад огней,
Лишь ковбой не сходили
С бешеных коней,

Да воинственные леди
С этих же реклам
Метко целились в соседей
Из-под серых рам.

На безлюдном Сити строго
В каске с хохолком

Полисмен дает дорогу
Белым рукавом.

Мы спешили, я не скрою,
На корабль, домой...
Оставался за спиной
Мир не наш, иной.

Чтоб и здесь не тосковала
Русская душа,
Наш минер и запевала
Начал не спеша.

И взметнулась вольной птицей
В тихой синеве
Над английской столицей
Песня о Москве.

КОММУНИСТ

Быть коммунистом не легко, мой друг,
Служить народу — дело не простое.
Широк больших обязанностей круг,
Упрямо чуждых праздного застоя.
Тебя, бойца, таким, каков ты есть,
По-матерински партия взрастила.
В тебе живут ее порыв и честь,
Ее огонь, ее любовь и сила.
Она тебе присвоила черты,
Отмеченные страстью постоянства,
Вооружила свойством простоты,
Лишила спеси и дурного чванства.
Ты — плоть ее от корня до ветвей,
Которые не гнутся, разрастаясь.
Не уживутся с совестью твоей
Ни ханжество, ни мелочная зависть.
Но если вдруг на склоне, у межи,
Ты, оступившись, станешь виноватым, —
Признай свой грех, признай без тени лжи,
Останься правдолюбом и солдатом.
Познав урок партийного суда,
Постыдно лицемерить не умея,
Ты будешь с той минуты навсегда
Во много раз и чище и сильнее.
Ты — коммунист. Ты — попросту вожак.
И если уж достиг такого званья,
Неси его в душе не просто так,
А как печать почета и признанья.

СИБИРСКАЯ НЕВЕСТА

За Омском и за Бийском,
Над легкою водой,
Жил в городке сибирском
Парнишка молодой.

Картошку ел на лярде,
Работал, был неглуп.
Играть на бильярде
Ходил в военный клуб.

А елки — словно башни.
Медлительный покой.
Весной гуляют барышни
Бульваром над рекой.

И там живет невеста —
Краса на всю Сибирь.
Кладет невеста в тесто
Корицу да имбирь,

Изюму две-три горсти
И столько ж кураги.
Зовет невеста в гости
Его на пироги.

Ее черты желанны,
Глаза глядят, губя.
— Скажи, какие планы,
Парнишка, у тебя?..

— Тебе пошел, невеста,
Двадцатый лишь годок.
Кругом глухое место —
Таежный городок.

Хочу, чтоб на столицу
Он начал походить,

Чтоб дальше нам учиться,
В театры бы ходить.

Чтоб дружная атака
Пошла на эту тишь...
— Ой, скучно ты, однако,
Парнишка, говоришь...

Тогда он молвит нежно:
— Забыл, что ты строга.
Сперва хочу, конечно,
Отведать пирога.

Потом — не ждатель напрасно,
Доверившись судьбе.
Хочу, коль ты согласна,
Жениться на тебе...

Кивая в лад рассказу,
Смеется: — Видишь, знал.
Вот с этого бы сразу
Ты, парень, начинал.

Свою с твоей судьбою
Свяжу я навсегда.
А дальше я с тобою,
Увидишь, — хоть куда:

Хоть в дымку луговую,
Хоть в теплую постель,
Хоть в чашу вековую,
Хоть в зыбкую метель.

Пойду с тобой повсюду —
И в полночь, и в рассвет.
А ждать случится — буду
Хоть кряду десять лет.

В СТАРОМ ГОРОДЕ

«Охраняется государством...»

Это — сон, это — город-игрушка
Из неведомых дней.
Допотопная ржавая пушка,
Горкой ядра при ней.

Окна узкие, как амбразуры,
И фонарики в ряд.
По витому карнизу скульптуры —
Трубочисты сидят.

А вблизи, за мощеной горою,
Там иное житье.
Город высится, новое строя
И ломая старье.

Но резной этот дом стооконный,
Тонких шпилей красу
Охраняют сурово законы,
Словно лося в лесу,

Словно чуткое чудо лесное,
Чья повадка строга,
Что спокойно прошло предо мною,
Запрокинув рога.

КУПАЮЩАЯСЯ ДЕВУШКА

Она разделась суетливо,
Решась, оставила кусты,
Пошла тревожно, торопливо,
Стыдясь своей же наготы.

Не то, что баба пожилая,
Что входит в озеро, лентясь, —
Она ступала, вся пылая,
Рукой от солнца заслонясь.

О, почему не видят люди
Ее смущающийся взгляд

И эти маленькие груди,
Что в обе стороны торчат!

Вступила в воду по колено,
Остановилась несмелá.
И вдруг присела, взбила пену,
Бурля ногами, поплыла.

Вдали скользит полоска дыма.
Блестит пустынное жнивье.
Спокойно и невозмутимо
Природа смотрит на нее.

Д Я Д Я

Мой дядя в двадцать пятом
Командовал полком.
Он был крутым солдатом,
Прямым большевиком.

И от природы добрый,
И вовсе не герой,
Питался чаем с воблой,
Жил в комнате сырой.

Единой мерой мерил
Поступки и слова.
Он свято в дело верил,
Как верят в дважды два.

Сказал он зло и четко
Однажды в Новый год,

Что здесь преступна водка,
Коль голоден народ.

Он пробегал сурово
С утра столбцы газет:
Пожара мирового
Все что-то нет и нет.

Он вечно жил, готовясь
К тому, что впереди.
Торжественная совесть
Жила в его груди.

...Высокий шлем и шрама
Над бровью полоса.
Он смотрит зло и прямо
С портрета мне в глаза.

МЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО...

Мы встречались совсем немного.
Помню дом ее в центре Москвы.
Губы бантиком — недотрога,
косы грузные вокруг головы.

Важной, важной была,
непреклонной,
но прислушивалась к звонку
и о тонкий ледок оконный
остужала тайком щеку.

Я звонил ей.
Под снегопадом
мы ходили с ней на каток.
Мелким шагом я шел с ней рядом.
чуть придерживая за локоток.

На деревьях снега, как пена.
Разноцветные огоньки...
Возле лавки, встав на колено,
зашнуровывал ей коньки.

Мягко чистил ей мандарины,
и снежинки, летя с небес,
словно крошечные балерины,
танцевали нам полонез.

Это первая.
А вторая

по-другому была горда.
Над снегами переднего края
ржавой проволоки три ряда.

Поднималась звезда над снегами,
над погибшим на днях полком.
Осторожно гремя сапогами,
прибежала ко мне тайком.

И сама дивилась поступку,
и смеялась, попавшая в плен.
По-солдатски короткую юбку
все дотягивала до колен.

Словно вспугнутые погоней,
Как от тяжкого спирта-сырца, —
От нашедших друг друга ладоней
колотились наши сердца.

Словом ласковым не называя,
говорила мне грубо: мой!
Укрывала нас ночь фронтовая,
как шинелью, своею тьмой.

Фронтовых бездорожий буйность,
Над катком голубая пыльца...
Словно детство и словно юность -
эти два молодые лица.

*
* *

Сосед мой, густо щи наперчив,
Сказал, взяв стопку со стола:
— Ты, друг, наивен и доверчив,
Жизнь твоя будет тяжела.

Но не была мне жизнь тяжелой,
Мне жребий выдался иной:
Едва расстался я со школой,
Я тотчас принят был войной.

И в грохоте, способном вытрясть
Из тела душу, на войне
Была совсем не нужной хитрость,
Была доверчивость в цене.

Я ел — и хлеб казался сладок,
Был прост — и ротой был любим,
И оказался недостаток
Большим достоинством моим.

*
* *

Пишите кровью!
Лишь одной, пожалуй.
Я верю ей —
Она всему виной.
Пишите кровью,
Настоящей,
Алой,
Пишите кровью,
Только ей одной!

Пишите кровью,
И тогда поймете,
Что кровь правдива
И всегда нова.
Линючие чернила не в почете
У выстрадавших право на слова!

Пишите кровью,
Снова повторяю
И буду повторять
Из года в год.
Пишите кровью,
Я ей доверяю.
Доверьтесь ей —
Она не подведет!

Л Е Н И Н

Он был во всем самим собой,
В быту и на броне перед народом.
Все зримее, все ближе с каждым годом
Он к нам, мой друг, своей чертой любой.

И прежде, чем воспитывать других,
Ты сам себя, как он, пойми сначала,
Чтоб жизнь твоя как песня зазвучала,
Чтоб каждый час стал темой многих книг!

Не выдуман — от нас подать рукой!
Он весь земной — не надо делать бога.
Его черты и вдумчиво и строго
Ищи в себе, чтоб стать самим собой!

Дмитрий ГОЛУБКОВ

Я Б Л О К И

...В траве, росой умытой добела,
Сверкали утром паданцы все чаще.
Ометы подымались у села.
Ветра, свистя, ощипывали чащи.

В канавах облетевший жухлый лист —
Как будто слитки меда в чашке черной.
Измокший сад наполовину лыс,
Кудряв наполовину,
непокорный.

И вдруг —
зашелестел, встряхнулся он,
Как будто бы весной оглушен.
Ребята, хлынув стайей воробьиной,
Рассыпали в саду веселый звон,
И застучали яблоки в корзины!

Девчонки желтой нанесли соломы,
И присмирили яблоки, как дети.
Их из зеленого увозят дома,
Где ветви их качали на рассвете.
Их привезут в большие города;
Раскроют ящик, пахнувший цветами.
Проснутся шумно яблоки тогда,
Толкаясь загорелыми боками.
На разрисованном ромашкой блюде
Разляжется смеющееся лето...

И самые нахмуренные люди
Легко заулыбаются на это,
И тучу осени прогонит ведро,
Добрее глянет освеженный день.
И в город хлынет солнечная бодрость
Трудолюбивых русских деревень.

ЛУЧШЕЕ ИМЯ

Ты ножками сучишь своими,
Лепечешь что-то иногда...
Как назову,
Какое имя
Тебе вручу на все года?

Есть много их —
Хороших, разных.
Какое выбрать? Помоги.
Одни веселые, как праздник,
Другие — буднично строги.

Одни всем миром владеют,
Другие, что ручей, скромны.
Одни тускнеют и бледнеют,
Уйдя в глубины старины.

Другие, вырвавшись оттуда,
Опять сверкают, как родник.
Есть имя-песня, имя-чудо, —
Какое выбрать мне из них?

Библейских есть имен немало,
Есть выходцы из дальних стран...
Я одарю тебя, пожалуй,
Коротким именем
Иван.

Оно всех ближе, всех роднее,
В нем сила русская и ум,
В нем сказки деда-чародея,
Дубравы шум, колосьев шум.

В нем океана гул,
В нем сеча
И пахаря нелегкий шаг,
Большое сердце человечье
И правде верная душа.

В нем Пресня стойкая,
И Зимний,
И волжский взнуданный поток...

Достойное я выбрал имя.
Не урони его, сынок!

Владимир ГУРЬЯН

*
* * *

Свеча,
 обыкновенная свеча
Мерцала,
 догорая, на рассвете
В нетопленном кремлевском кабинете,
В рабочем кабинете Ильича...
Еще вчера
 озябшими руками
Не без труда
 Ильич ее зажег, —
Затрепетало маленькое пламя,
Заколыхался огненный флажок!..
На тусклый свет оплывшего огарка
Глядит Ильич
 и видит,
 видит он
В грядущих днях сверкающие жарко

Шатуру,
 Днепрогэс,
 и Волго-Дон,
И провода на мачтах-великанах,
Шагающих в тайгу от Ангары,
И тысячи речушек безымянных,
Несущих людям светлые дары!..
Кремлевскими курантами звуча,
Идут года,
 большие,
 как столетья.
...Ильич
 уснул.
В кремлевском кабинете
Стоит недогоревшая свеча.

ОККУПАЦИЯ

В Саратове горны трубили.
На Каме горели костры.
А мы в оккупации были,
подростки военной поры.
Нам нечему стало учиться,
и карты помочь не могли, —
война поломала границы
на всем протяженьи земли.
Нам опыт давался не просто,
и не было радости нам
с утра обходить перекресток
и слушать историю там,
где рынок бурлил недалеко
и пели слепцы под баян
певучие плачи Востока,
плакучие песни славян.
Пылили моторные части,
погоны блистали оплечь,
и всюду, победно и властно,
немецкая лязгала речь.
На каменной этой дороге,
где русские пленные шли,
мы новые брали уроки,
но старых забыть не могли.
Мы тайно писали диктанты,
и утром бесились посты,
срывавшие «Смерть оккупантам!» —
в косую линейку листы.
Мы эхо ловили ночами,
к земле припадали у стен,
и гулы вдали означали
начало больших перемен.

МОЙ ВЫБОР

Мы гнались за бабочкой,
желтой, как мед.
Мы были мальчишками в поле,
когда над нами прошел самолет.
И друг побледнел от боли.
И лег. И сразу сухая стерня
стала темнеть и мокнуть.
Вторая пуля пошла в меня,
ударила сверху в локоть.
Земля приникла к моей щеке.
Подняла. Помогла опереться.

Кровь, которая текла по руке,
текла из моего сердца.
— Ты будешь врачом, —
говорила мать.
Я вырос и стал солдатом.
Но только вовсе не жажда стрелять
вела меня к автомату.
Я вижу поле, крест на крыле.
И навзничь лежу в кюветце.
Кровь, которая течет по земле,
течет из моего сердца.

СУВЕНИР

Я не искал и не хранил их,
Мне дела не было до них.
Я говорю о сувенирах,
О безделушках дорогих.
Хотя бы просто круглый камень,
Ну, что он скажет о волне?
Я море выучил на память,
Он и так гудит во мне,
Как там, под соснами, в Мисхоре,
Где мы однажды на пути
Решали в новый санаторий
На вечер отдыха пойти.
Там было тоже — море гвалта,
Когда, людей срывая с мест,
С утра приехавший из Ялты,
Ударил «Барыню» оркестр.
И напряженно, словно в сечу, —
На скулах жаркие круги, —
Метнулся музыке навстречу
Один чубатый, без ноги.
Кружась и яростно и тяжело,
Он подлетал под крик: «Ходи!»
В ладоши бил и рвал тельняшку
С татуированной груди.
Он бушевал, самим собою,
Своей бедой пугая зал,
И видел я, как отблеск боя
На бледных лицах возникал
И, выводя мотив жестокий,
Глуша соседней флейты свист,
Надув щетинистые щеки,
Сурово плакал тромбонист.
О море, вставшее у Крыма,
Глубин лиловые слои!
Твои валы неповторимы,
И что мне копии твои!
Когда бы с золотом багета
Гремучий вал ужиться мог,
Я взял бы в раму полный света
Волны воспрянувшей комок,
Чтоб в синем сердце сувенира
Тобою были сведены
Зеркальное сиянье мира
С пугливым трепетом войны.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Когда-то,
в теплой кухне, при огне,
уставшему кататься на салазках,
мне бабушка рассказывала сказку
об очень дальней северной стране.
На старой — шаль из мягкой шерсти козьей.
Она сидит
в своей спокойной позе...
И верилось,
что бабушка права:
что звуки замерзают на морозе
и льдинками становятся глаза,
что можно их везти с собой в карете
за сотни верст.
И если, говорят,
внести в тепло
немые льдинки эти,
они оттают и заговорят.

Я взрослым стал.
Я в мир ушел из дома.
И побывать пришлось однажды мне
в той,
по рассказам бабушки знакомой,
в той
очень дальней
северной стране,
где ты жила.
Что было между нами?
...Обутые в мохнатые кисты,
бежали,
чтоб согреться,
за санями
и терли побелевшие носы.

Я помню
смех твой
ласковый и тихий,
морозные, седые небеса,
твои большие,
как у оленихи,
с огромными ресницами
глаза.

Весной, когда
сломала с громом льдины
и в океан их вынесла река,
простились мы.
И я легко покинул
охотничий поселок
в три дымка.
Слова любви твоей,
твоей печали
из песни той,
что пела ты грустя,
казавшиеся льдинками вначале,
оттаяли в душе
и зазвучали
в краю ином
и много лет спустя.
На даче в Подмосковье,
при огне,
уставшему кататься на салазках,
я внуку пересказываю сказку
о дальней незабытой стороне.
Я говорю,
в привычной сидя позе
и щурясь на горящие дрова:
— Там звуки замерзали на морозе
и становились льдинками слова...

ПРОМЕТЕЙ

Он выплыл не из книжной мути.
Пишу о нем не по причуде,
Любовь ответную храня...
В пещерах темных жили люди,
И не было у них огня.

И не манили их дороги,
И полонили их тревоги,
И ум бессильный спал во мгле.
А сверху обитали боги
В довольстве сытом и тепле.

Титан, в борьбе помогший богу,
Просил огня, хотя б немного,
Чтоб оттеснить пещерный мрак.
Но отвечал всевышний строго,
Что люди счастливы и так;

Мол, всем они довольны сами
И, мол, не спорят с небесами.
Чего ж ты хочешь, Прометей?!
И глянул грустными глазами
Ходатай первый на людей.

Увидел согнутые плечи,
И рты, не знающие речи,
И необжитое жильё...

Ютилось племя человечье
И в счастье верило свое.

И вспомнил он другое место —
Земную кузницу Гефеста,
Ее пылающую пасть.
И это было очень честно —
Для темных душ огонь украть.

Он жаркий уголь взял рукою,
Он мчался скрытою тропкою,
Он меньше ростом стал в пути,
Дыша надеждой и мольбою —
Необнаруженным дойти.

И смог добраться.
И впервые
Взметнулись искры огневые
Во взглядах и сердцах людей...
Но был на муки вековые
К скале прикован Прометей.

И боги гневались.
Но поздно.
Не зря он шел, уменьшась ростом,
И уголь жег его ладонь...
Так не считай, что это просто —
Прийти — и людям дать огонь.

Наум ГРЕБНЕВ

ПУСТЫНЯ

Скрещенье извилистых линий,
Лиловые сгустки теней.
Чем больше нас едет пустыней,
Тем меньше пустынного в ней.

Грохочут машины, и в страхе,
Пред шумом неведомым тут,
Уходят в себя черепахи
И в норы вараны бегут.

Здесь скоро вода разольется,
И будет канал.

А пока

В недобрых пустынных колодцах
Вода солоня и горька.

Наткнется топограф у склонов,
Где русло сухого ручья,

На гильзы английских патронов,
На белый скелет басмача.

И видно в зрачок нивелира,
Как шествует, выпятив грудь,
Верблюд,
с сотворения мира
Начавший свой медленный путь.

Завидую автомобилю,
Бредет он к низовьям Аму,
И легкое облако пыли
Клубится вдогонку ему.

Мне жалко пустыню не слишком,
И вас тороплю я сейчас,
Чтоб нам не судить понаслышке
О том, что исчезнет при нас.

СПОР

Однако изменился ты,
Стал кривогубым демагогом,
И спорим мы до хрипоты,
И нашим не сойтись дорогам.

Собрав несчастья прошлых лет,
В грядущее ты лезешь с ними.
Искал ли ты на них ответ,
Когда мы были молодыми?

Нет, ты с испуганным лицом
Любую принимал потерю,
Был самым искренним льстецом,
И я теперь тебе не верю.

Какая подлость — сыпать соль
На заживающую рану.
Я слишком знаю эту боль,
Но бередить ее не стану.

Ого, как стал ты нынче смел!
Что ни воспоминанье — пакость,
И ты кричишь, что надоел
Тебе мой комсомольский пафос.

Пытаясь оскорбить меня,
Ты вдруг выпаливаешь с жаром,
Что мягче стали времена,
А я остался комиссаром.

Спасибо! Не слышал давно
Я большей похвалы в свой адрес.
Ведь это звание равно
Понятю — доблесть, честь и храбрость.

Не смей с улыбкою кривой
Произносить святое званье!
Как комиссар, противник твой,
Берусь за перевоспитанье.

Собрав спокойствие в кулак,
Твержу, суровый и угрюмый:
Ты что-то говоришь не так,
Опомнись, оглянись, подумай!

ВСТРЕЧА С ГОРАМИ

Я двадцать лет не видел этих гор,
И вот пришел сегодня к их подножью,
Но не вступаю первым в разговор,
Как юноша, борясь с душевной дрожью.

Спросите сами, горы, у меня,
Как жил я, как я прожил эти годы.
Скакал не в бурке, падал не с коня,
Вокруг почти не замечал природы.

Вершины ослепительно чисты,
Лиловый сумрак бродит по ущелью.
...Все люди начинают с высоты,
И этому я верен ощущенью.

Нам видится и снится штурм вершин,
Космическими тронутых лучами,
Пока не смерит жизнь на свой аршин,
Покуда не засыплет мелочами.

Но я опять стремлюсь вперед и ввысь,
Как не всегда..
Но ты всегда стремись!

А горы те же, что и век назад.
И что им — двадцать лет моих скитаний?
У них сплоченность плеч, орлиный взгляд,
Обманчивая близость расстояний.

ГОРЯЧИЙ ДОЖДЬ

Дождь не принес земле пролады..
Горячий дождь, дитя жары,
Кипит на глади автострады,
Мотает рошу за вихры,

Он льет из тучи желто-алой,
Короткий, дикий, небывалый,
И на проселочной дороге
Пылают лужи, как ожоги.

Происхожденье бури — тайна,
Но радио твердит с утра,
Что ядерные испытанья
В Неваде начались вчера.

А если ураган мгновенный
Принес оттуда смерч и мрак?
Начало иль конец вселенной?
Так было или будет так?

Хотя насквозь пронизан солнцем,
Дождь этот — вовсе не грибной.
Он, может, собирает стронций
На вздыбленной коре земной,

Чтоб кровь людская побелела,
Чтоб кости не держали тела,
Чтоб отозвался этот гром
На поколении втором.

Промчались клочья туч кровавых,
Земля дымится позади.
Молчать я не имею права —
Идут горячие дожди!

Ты любишь жизнь?
Так встань и требуй,
Чтоб не взрывали свет и тьму,
Чтоб всюду голубело небо,
Не угрожая никому.

ДИКАРИ

Площадка в окруженьи гор —
Воздушный порт, Улан-Батор.

У входа в аэровокзал
Автобус,
Два верблюда,
Задумчивые их глаза
Ждут появления чуда.

Поодаль взлетной полосы
Овечий гурт пасется.
Дежурный смотрит на часы
И щурится на солнце.

Заезжие кочевники,
Из ближних юрт ребята
Стоят, заткнув учебники
За верхний борт халата.

Вся публика чего-то ждет,
Строги степные лица.
Сейчас транзитный самолет
Здесь должен приземлиться.

Вот, к восхищенью детворы,
Он вынырнул из-за горы.

Примяли пыльную траву
Пузатые колеса,
Сошли

Летящие в Москву
Студенты из Лаоса

И смуглая Мадонна,
Смотри, в какую даль,
Летящая с Цейлона
На пражский фестиваль.

За ней по легкой лесенке
Сошли, мурлыча песенки,
Три интеллигента
С иного континента.

Напрасно их дежурный звал
На завтрак в аэровокзал.

Один сует верблюду в пасть
Окурок сигареты «кемел»,
Другой субъект,
Чтоб не упасть,
За флягу держится все время.

А третий...
Дам простить прошу
За то, что о таком пишу, —
У азиатов на виду
Справляет малую нужду.

С презреньем смотрит Азия
На это безобразие.

ДЕВУШКА С КУВШИНОМ

Я промчался по долинам
До кавказских серых скал,
Встретил девушку с кувшином,
Может, ту, что век искал.

Познакомься с кабардинкой,
Коль в себе уверен ты.
Вот она идет тропинкой
Сквозь альпийские цветы,

На плече кувшин пронесит,
Словно статую свою,
Не ответит и не спросит,
Что за гость в ее краю.

Дескать, вы сумеете сами,
Как наполненный кувшин,
Пронести над пропастями
Чистоту своей души!

ВЕЧНО ЖИТЬ И ВЕЧНО СЛАВИТЬСЯ

Только раз в году рябинами
Заиграть леса осмелятся...
А Москва цветет рубинами
И весною и в метелицы.

Очернить враги пытаются
Наши силы благородные...

А у нас в Москве сбываются
Все желания народные.

Дуб могуч — справлялся с бедами,
Но придет пора — и свалится...
А Москве родной победами
Вечно жить и вечно славиться.

Борис ДУБРОВИН

МОГИЛА ЭНГЕЛЬСА

В своем завещании Ф. Энгельс
просил бросить его прах в море...

Он сам хотел,
Наедине с веками,
Остаться там,
Где бродят корабли;
Он сам хотел,
Чтобы надгробный камень
В земной кумир
Потом не возвели.

И лондонская осень на закате
С минуты той особенно горька:
Печалится,
Что ей лесов не хватит,
Что ей цветов не хватит для венка.

И, салютуя ширящимся гулом,
Прах унося в неведомую мглу,
Артиллерийским залпом полоснуло
Клокочущее море о скалу.

Ушел,
Исчез,
В необозримость канув,
Не различить в пучине ничего...
Но волны всех морей и океанов
Проникнуты дыханием его.

ЛЕСОРУБЫ

Глаза упорны и остры.
Смотри!
Идет работа!
Блестят стальные топоры,
Обламываются куски коры,
И, падая, стволы хрустят
И одинаково блестят
Смола
И капли пота.

Когда в лесную глушь идешь,
Один, тропинкой узкой,
Ты вряд ли что-нибудь найдешь...
А здесь —
Ты и без слов поймешь,
Что вот оно,
Искусство!

Иван ДРЕМОВ

БЕРИНГОВ ПРОЛИВ

Скалистые горы навек разделив,
Уходит на север Берингов пролив.
В косматом тумане мерцает вода.
Чукотка лежит в золотой опояске.
Тяжелые глыбы извечного льда
Всползают на берег Аляски.

Под цинковым светом бессонной луны
Клубятся и движутся волн табуны.
Над стылым покоем баркасных кают,
Над каждым рыбацким оконцем
Здесь многие годы раздельно встают
Две песни, две жизни, два солнца.

А горы, водой разлученные тут,
Как прежде, единой судьбою живут.
Бушуют ли штормы, ревет ли пурга,
Сверкают ли звездные ночи —
Как старые братья, глядят берега
Друг другу в суровые очи.

*

* *

Мне счастье казалось
Далекой дорогой,
Мне счастье казалось
Неясной тревогой,
Неясной тревогой,
Зовущей куда-то
Из теплой квартиры
В районе Арбата.
Такая тревога
Мне с детства знакома.
О бешенство молний!
Ворчание грома!

Мне счастье казалось
Парнишкой плечистым,
Упрямо бредущим
Путем каменистым.
Я с ним бы делила
И тяжесть рюкзака,
И радость

Короткого бивуака.
Ладони у парня
И нежны и грубы...
О горные ночи!
Соленые губы!

...Ты скажешь —
Легко рассуждать о Памире
На мягком диване
В московской квартире
Со всеми удобствами:
Ванной, балконом,
Железным диктатором —
Телефоном.
Ты прав —
Я, пожалуй, в тепле засиделась...
О молодость сердца!
Беспечная смелость!

*

* *

В каком-нибудь неведомом году
Случится это чудо непременно —
На Землю нашу, милую звезду,
Слетятся гости из всей вселенной.

Сплошным кольцом землян окружены,
Пройдут они по улицам столицы.
Покажутся праправнукам странны
Одежды их и неземные лица.

На марсианку с кожей голубой
Потомок мой не сможет наглядеться.
Его земная грешная любовь
Заставит вспыхнуть голубое сердце.

Его земная грешная любовь
И марсианки сердце голубое...
Как трудно будет людям двух миров! —
Любимый мой, почти как нам с тобою...

ПО ДОРОГЕ В ОКЕАН

Вот мы и в проливе, в Гибралтаре,
Где закат пылает, как пожар.
Жаль, конечно, что туман ударил
И не виден
Город Гибралтар.
Кое-где прожилки горных тропок
В вышине ветвятся на виду.
Ну а где же
Здесь мыс Европа?
Где маяк Тарифа? — Не найду.
Я на нашу оптику в обиде:
Ни бинокль,
Ни стереотруба
Ничего не помогли увидеть,
Кроме Геркулесова столба.
Даже в окулярах дальномера
Мой сосед-матрос не отыскал
Ни реклам
Вечернего Танжера,
Ни багровых марокканских скал.
Опоясан дымчатою ватой,
Берег
Поднял вверх свой серый щит.
Но простор воды голубоватый
Никакой завесой не закрыт.
С океана или со стоянки
Нам навстречу медленно идут
Финский транспорт,
Итальянский танкер,
Отдавая флагами салют.
А со стороны испанской вижу
Парус... И под ним во весь опор
Мчатся, приближаясь к нам все ближе,
Рыбаки
На шхуне «Магадор».
Нет у них ни флага, ни ракеты.
И они
Запретный свой салют
Взмахом рук и криками привета
Родине моей передают.
По дороге в океан в июне
Нас в тот час советский крейсер мчал...
Он, как всем судам,
Рыбацкой шхуне
На салют салютом отвечал.

*На борту крейсера «Михаил Кутузов».
Июнь 1957 г.*

БЕСЕДА С БОЙЦАМИ

(Из драматической поэмы «Василий Чапаев»)

Чапаев

Друзья-бойцы, сперва я вам
вопрос единственный задам.
А вы ответ дадите всей стране...
Прогоним из Уфы сегодня Колчака?

Бойцы

Про-го-ним!

Чапаев

Наверняка?

Бойцы

На-вер-ня-ка!

Чапаев

Теперь вопросы задавайте мне!

1-й боец

Товарищ командир, листовки мы находим,
там пишут, что у них солдат побольше вроде.

Чапаев

Да. Говорят, что будто против нас
у них вояк поболее в шесть раз.
А хоть бы так. Легко ли шестерым
управиться с тобой, с бойцом лихим?
Им для стрельбы-то надо шесть бугров, —
ты за одним укрылся; будь здоров,
живей стреляй. Прикончил одного,
глядишь — их остается пять всего.
Обойму выпустил — один лишь остается,
против тебя, чапаевца, он слаб.
Глядишь, он в плен тебе сдается,
а ты его...

1-й боец

На штык!

Чапаев

Неверно. В штаб!
Ведь пленный это кто?.. Язык!
Чего ж его сажать на штык?..
Знай, сколько б не было врагов,
а мы сильнее! У нас есть Ленин!

2-й боец

Ленин!
Каков он с виду? Чай, суров?
В плечах не менее сажени?

Чапаев

Что ты?.. Ленин простого простее,
и не сразу поймешь, отчего
так бояться его богатеи,
отчего мы так любим его.
И слова говорит он простые,
а словами за сердце берет.
Он, прищурясь, всю видит Россию,
видит жизнь на столетье вперед...
Говорил он, что станут крестьяне
сообща выходить на поля,
братский труд их сторицей станет
награждать урожаем земля.
Будет хлеба поток золотой
что ни год разливаться шире.
Ни одна душа в целом мире
не останется сиротой...

3-й боец

Когда же это будет?

Чапаев

Скоро.
Когда всех беляков побьем.

4-й боец

Вот если бы пожить в ту пору!

Чапаев

Не сомневайся, проживем!..

(Запевает.)

Эх! То не ветер-непоседа
в буйных травах шелестит...

Бойцы *(подхватывают)*

То по вражескому следу
наша конница летит.
Боевые кони в мыле.
Грозен сабель перезвон.
Как самой победы крылья,
реет алый шелк знамен!

ИЗ КАЗАХСТАНСКОЙ ТЕТРАДИ

МЕЧТА

Не тараторка и не фантазерка,
в июльские вечерние часы
она твердит:
— Раздельная уборка —
вот это, понимаете, жаксы!
А я сижу себе у самовара
и повторяю
будто бы сквозь сон:
— Да, да!
Два лишних центнера с гектара —
так это ж по совхозу
сотни тонн!..

Смеюсь,
а сам томлюсь мечтой одною:
глядеть бы так и взгляд не отвести!
Пускай осталась юность
за спиною,
пусть жизнь подходит
к двадцати пяти,
она еще
все носит ленты в косах
за угловатым девичьим плечом;
в ее глазах,
по-здешнему раскосых,
степная молодость
бурлит ключом;
все кружится потоком рыжеватым,
рождая в сердце теплоту и свет...

Да будь я человеком неженатым,
будь помоложе на десяток лет,
наверно,
задыхаясь от восторга,
на всю округу повторял бы вновь:
— Да здравствует
раздельная уборка
и наша безраздельная любовь!

СКУЛЬПТУРЫ

Карагач, еще в половодье,
взобравшись
на этот обрывистый берег,
стоял над Тоболом
и синим бунтующим льдинам
показывал кукиш:

«Нате! Возьмите меня!»

Льдины бесились и гневно
бились о скользкие камни
стеклянными лбами;
от злости скрипели зубами,
штурмуя обрыв.

И, обессилев,
вниз к Иртышу утекали
вместе с полой водой...

Лето настало.

Рыжее солнце, как коршун,
нависло
над раскаленной планетой.
Головы, словно цыплятам,
крутило тюльпанам оно.

И траву выжигало.

Повсюду потрескалась почва.

И, запуская все глубже
в подземное царство
щупальцы неударжимых корней,

«Дайте пить!» —
карагач застонал.

Но воды грунтовой не нашлось.
А Тобол, извиваясь и корчась,
сам от жажды уже издыхал
там,
в далеких кустах тальника.

Карагач задыхался.

И вот уже ржавые листья
один за другим
пожелтели,
поблекли,
пожухли.

И, в трубки свернувшись,
как черви, обсыпали землю.
И была обнаженная крона
бела, как слоновая кость.

«Куда же девалась вода?..»

Карагач
над обрывом
рогатую голову свесил
и застыл навсегда,
как изваянье оленя.

Так в степях Казахстана
появились скульптуры.

ПРИЦЕПЩИЦЕ ГЮЛЬДЫ

Соловьиные песни Гюльды —
это песни твои и мои.
Это юности нашей следы,
наших мыслей мятежных бои.
Это наши страдания и беды,
цветенье июльских гвоздик
и февральские крепкие льды.
Наконец, это наши победы,
моя золотая Гюльды.

Песни твои —

это подвиг страданий твоих
и твоя беспредельная страсть,
это крик размышлений живых
и тоски неотступная власть...

Шла ли буря сухая, сквозная,
гроза ли разгульная
в клочья рвала облака, —
я учил наизусть их, не зная
совсем твоего языка.

Повторял я их снова и снова.

И, когда засыпал весь народ,

со словариком слово за словом
делал ночь напролет
перевод...

Так я стал понимать
и тоски беспричинной напасти,
и упреков твоих острие,
и глухие,
подспудные омуты страсти, —
сердце твое.

Песни твои —

это листьев осенняя дрожь,
это вешнего дождика шум,
это солнце сквозь дождь,
это сад расцветающих дум.
Это ведро и это ненастье
в бунтующей нашей крови.
Это летопись
наших несчастьей,
и счастья,
и нашей любви.

ЗЕМНОЙ СИГНАЛ

Я знаю, что вселенная безбрежна —
В ней свет,
 в ней жизнь...
 И может, в этот час
С других планет
 настойчиво и нежно
В тайге миров разыскивают нас.
Сквозь бесконечный хаос мироздания
Неведомые жители
 вдали
Уловят серебристое сиянье
Моей неостывающей земли.
Пускай глядят...
 Но только профиль лунный
Вдруг зачеркнет звезда наискосок
И зазвучит,
 как солнечные струны,
Ее неповторимый голосок,
По радио настойчиво зовущий,
Еще не огрубевший до поры, —
Земной сигнал
 из многозвездной гущи
В далекие пространства и миры.

Михаил ЗЕНКЕВИЧ

По-старому ведем еще мы счет,
Оставив прежнее летосчисленье.
А время так стремительно течет,
Все ускоряя два круговращения.

И время уж не то и мы не те:
Привыкли мы и в повседневном быте

К стремительной ракетной быстроте
Огромных, потрясающих событий.

Звезда большая в лучезарной мгле
Восходит Новым Солнцем на рассвете,
Как будто мы живем не на Земле,
А на другой неведомой планете.

В Р А Ч

В захолустном районе,
Где кончается мир,
На степном перегоне
Умирал бригадир.
То ли сердце устало,
То ли солнцем нажгло,
Только силы не стало
Возвратиться в село.
И смутились крестьяне:
Каждый подлинно знал,
Что и врач без сознания
В это время лежал.
Надо ж было случиться,
Что, на горе-беду,
Он, забыв про больницу,
Сам томился в бреду.
И, однако ж, в селенье
Полетел верховой.

И ресницы в томленье
Поднял доктор больной.
И под каплями пота,
Через сумрак и бред,
В нем разумное что-то
Задрожало в ответ.
И к машине несмело
Он пошел, темнолиц,
И в безгласное тело
Ввел спасительный шприц.
И в степи, на закате,
Окруженный толпой,
Рухнул в белом халате
Этот старый герой.
Человеческой силе
Не положен предел:
Он, и стоя в могиле,
Сделал то, что хотел.

Д Е Т С Т В О

Огромные глаза, как у нарядной куклы,
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц,
Доверчиво-ясны и правильно округлы,
Мерцают ободки младенческих зениц.
На что она глядит? И чем необычаен
И сельский этот дом, и сад, и огород,
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин
И что-то вяжет там, и режет, и поет.
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца.
А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отражен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес,
И в глубь души ее, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.
И много минет дней. И боль сердечной смуты,
И счастье к ней придет. Но и жена, и мать,
Она блаженный смысл короткой той минуты
Вплоть до седых волос все будет вспоминать.

ОН НЕ МОГ НЕ БЫТЬ!

Недавно я вообразить пыталась,
Хотя с трудом, по правде говоря,
Что если б все по-старому осталось
И не было б в России Октября?!

И мне вообразилась вереница
Глухонемых, тягуче длинных лет,
Казалось, людям сон неясный снится,
Надежд померкших еле брезжит свет.

Не находилось никаких заметок
В душевной памяти полупустой —
Ни подвигов, ни гроз, ни пятилеток
С их беспокойной строгой красотой.

Отщелкивались на незримых счетах
Костяшки круглых невесомых дней
В каких-то непонятных мне заботах,
В звучанье строк — одна другой грустней.

Я видела сырых подвалов плесень,
Блистательную спесь особняков,
Брезгливо замыкавших слух от песен,
Жестоких, горьких песен бедняков.

По радио звучал мотив старинный —
Торжественная, мудрая краса...
Но где же голоса с земли целинной,
Где стран чужих родные голоса?

На полках и в шкафах стояли книги.
Но где ж «Разгром», где «Теркин» среди них?
Где книги Закавказья, Минска, Риги?
Никто не написал их, этих книг.

Читаю жадно Пушкина, Толстого,
Со мной Некрасов гневно говорит.
Но где ж огонь сегодняшнего слова,
Существования иного ритм?!

Вот я смотрю на молодые лица...
Но чем их обладатели живут?
Вот сверстница моя идет молиться, —
Ей невдомек, что бог живущих — труд.

Бредут все порознь, стары духом, телом.
Художники в бессолнечной глуши
Считают одиночество уделом
Своей особой избранной души.

...И отступается воображенье,
Нельзя такое и вообразить.
Октябрь, как жизнь, как времени движенье,
Был

потому, что он не мог не быть!

ПЕРВЫЙ ЗОВ

Ветер садовой калиткой скрипел.
Запахом гречи тянуло с поля.
Кто-то на взгорье за речкою пел:
«Сбейте оковы, дайте мне волю...»

«Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить...»
Сердце зашлось от счастья и боли, —
Вот как на свете надобно жить!

Все б у забора стоять девчонке,
Все бы ей слушать и слушать тот зов.
Многие песни бывали звонки,
Но не сбивали те песни оков.

Может быть, пел ее тот... приезжий
В косоворотке с тугим ремешком.
Свет в его впалых глазах чуть брезжил
Недогоревшим в золе угольком.

Люди шептались: наверно, ссыльный
В домике у фельдшерицы живет...
Были задачей непосильной
Мысли про ссылку, про смерть за народ.

Хоть и жила я рядом с народом,
Против бревенчатой старой избы,
И с дочерьми его вместе, бродом,
Бегала в ближний лесок по грибы.

Может быть, был бы иным мой удел, —
Кто ее знает, людскую долю! —
Если б голос за речкой не пел:
«Сбейте оковы, дайте мне волю...»

Виктор ЗАБЕЛЬШИНСКИЙ

БОЛЬ

Заводская авария — случай слепой.
Нас доставили ночью в приемный покой.
Тишина и бинтов беспощадный зажим...
Пять рабочих и мастер — в палате лежим
И не спим, нарушая больничный режим.

Да, молча мы губы кусали от боли шальной.
Но ни стопа не слышно в палате ночной.

Я последний уснул, я слышал в тишине,
Как ребята тихонько стонали во сне.
Им, наверное, было больнее, чем мне.

Если б мог я ходить,
Чтобы сон разогнать,
Чтоб друзей не будить,
Чтоб во сне не стонать...

ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Прекрасна даль морская,
Откуда с постепенно
Растущим рокотаньем,
Увенчанные пеной,
Накатывают волны
С начала мирозданья.

Прекрасна ширь степная,
Прекрасен и дремучий
Зеленый сумрак бора.
Прекрасно все. Но лучше,
Прекрасней, величавей
Всего на свете горы.

Еще на школьной парте,
Еще когда мы учим
Таблицу умноженья,
Уже тогда пленяют
На глобусе, на карте
Они воображенье.

Еще мы непоседы.
Еще нас на уроках
Бранят за поведенье, —
Но властно уже вторглись
В беспечные беседы
Гигантские виденья.

Ущелья Сен-Готарда,
Где переход вершили
Суворовские пушки.

Кавказ, где в синем небе
Такие две вершины,
Как Лермонтов и Пушкин.

Мир гор!.. Он весь в движенье:
То в громовых раскатах,
То ясен, то нахмурен.
На дне гранитных пазух
Озер продолговатых
То тишина, то бури.

Среди бугров кремнистых,
В бездонных отголосках
Таинственные гроты:
Похоже — перед нами
Кора земного мозга
В часы его работы.

В ночи луна-колдунья
Волшебно озаряет
Глубины сновидений.
К рассвету по вершинам,
Как облака раздумья,
Проходят светотени.

Но миг — и вспыхнет солнце,
Во всем его богатстве
Мир озарился разом.
Не так ли торжествует
Над хаосом препятствий
Победу светлый разум!

РЕВОЛЮЦИЯ

Для меня революция —
Это светлая доля моя:
Муж любимый, большая семья
И друзья за моим столом.

Для меня революция —
Это новый дом,
Это то, что в мире ином
Представляется только сном.

Кто свершил революцию
В нашей стране,

Тот подумал о детях моих,
Обо мне,
О счастье людей,
О душе человека.

Революция —
Это молодость века,
Это — жизнь моя, дети,
Большая семья.

Революция —
Это счастливая я.

Эдмунд ИОДКОВСКИЙ

*

* *

Посреди села из камня высечен
памятник тому, кто был в числе
двадцати пяти рабочих тысяч,
с кулачьём сражавшихся в селе.

Но однажды от удара финки
рухнул парень в золото хлебов...

До сих пор из маленькой щербинки
тихо каплет каменная кровь.

Всем, кто и сегодня недостойн
света этих беспощадных глаз,
он стоит укором, павший воин,
он сегодня требует от нас,
чтоб умели с трудностями биться
и на жизнь смотреть не свысока,
а глазами этого партийца
с маленькой щербинкой у виска.

25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА

Я снова думал, в памяти храня
Страницы жизни своего народа,
Что мир не знал еще такого дня,
Как этот день — семнадцатого года.

Он был и есть начало всех начал,
И мы тому свидетели живые,
Что в этот день народ наш повстречал
Судьбу свою великую впервые;

Впервые люди силу обрели
И разогнули спины трудовые,
И бывший раб хозяином земли
Стал в этот день за все века впервые;

И в первый раз, развеяв злой туман,
На безграничной, необъятной шири

Взошла звезда рабочих и крестьян —
Тогда еще единственная в мире...

Все, что сбылось иль, может, не сбылось,
Но сбудется, исполнится, настанет! —
Все в этот день октябрьский началось
Под гром боев народного восстанья.

И пусть он шел в пороховом дыму, —
Он — самый светлый, самый незабвенный,
Он — праздник наш. И равного ему
И нет и не было во всей вселенной.

Сияет нам его высокий свет —
Свет мира, созидания и братства.
И никогда он не погаснет, нет, —
Он только ярче будет разгораться!

У КРЫЛЬЦА ВЫСОКОГО...

(Песня)

У крыльца высокого
Встретила я сокола,
Встретила-приветила,
На любовь ответила.

С ним не раз мы видели,
Как весна светила,
Как заря вечерняя
С утренней сходилась.

Но весна кончается,
Он со мной прощается.
А снега повыпали
И следы засыпали.

Ой, метели шумные,
Ой, снега вы белые,
Что же вы задумали,
Что же вы наделали?!

*

* *

Я не скажу:
«Над нами пусть не каплет,
а после нас —
хоть мировой потоп!»
Нет,
я хочу,
чтоб тысяч через пять лет
вели следы вдоль непросохших троп,
чтоб босиком по лужам
мчались дети
на свете без котомки и сумы,
на свете,
где за пять тысячелетий
шли под дождем и обнимались мы.

А если так считать:
мол, безразлично,
что будет с нашей, лучшей из планет, —
не знаю,
как кому,
а мне вот лично
тогда и жить на свете смысла нет.
1957

Т Ы

Нет проще рева львов
и шелеста песка.
Ты просто та любовь,
которую искал.

Ты — просто та,
которую искал,
святая простота
прибоя волн у скал.

Ты просто так —
пришла и подошла,

сама — как простота
земли, воды, тепла.

Пришла и подошла,
и на песке — следы
горячих львиных лап
с вкрапленьями слюды.

Нет проще рева львов
и тишины у скал.
Ты просто та любовь,
которую искал.

1956

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ах, каких нелепостей
в мире только нет!
Человек в троллейбусе
ехал,
 средних лет.

Горько так и пасмурно
глядя сквозь очки,
паспортную карточку
рвал он
 на клочки.

Улетели в стороны
из окна
 назад —
женский рот разорванный,
удивленный взгляд.

Что ж такое сделано
ей или им?

Но какое
 дело нам,
гражданам чужим?

С нас ведь и не спросится,
если даже он
выскочит и бросится
с горя
 под вагон.

Дело это — личное.
Хоть под колесо!
Но как мне безразличное
сохранить
 лицо?

Что же мы колеблемся
крикнуть ему: стой!
Разве нам
 в троллейбусе
кто-нибудь —
 чужой?

1957

ЛЕГЕНДА

Разошлась по городу легенда,
Будто где-то здесь невдалеке,
Девушка с косой и с белой лентой
Утопиться вздумала в реке.

Мол, спозналась с горечью душевной,
А уж с ней не миновать беды.
Только будто вдруг старик-волшебник
Вынес ее чудом из воды...

В жизни много нужно человеку.
Нужен хлеб. Нужна и красота.
И пошел народ на эту реку
Поглядеть на дивные места...

Одним словом, так или иначе,
Дело стало сказкой обрастать.
И примчал из области докладчик,
Чтобы этот миф разоблачать.

Он гремел. Срывал аплодисменты.
Выдумку цитатами разнес.
Осмеял нескладную легенду,
А другой легенды... не привез....

Сам он, видно, не тонул ни разу,
Не спасал он жизни никому,
И, наверно, в детстве тихих сказок
Не шептала бабушка ему...

Лев КОНДЫРЕВ

МОРЯНА

Девочку Моряною назвали...
Каждый день, встречая утром зори,
В легкие обутая сандалии,
Девочка Моряна ходит к морю.

Подымая лапы из тумана,
Волны злятся, мечутся спросонок,
Но, услышав песенку Моряны,
Море затихает, как ребенок.

ГОРА

Над колосьями хлеба,
Где клубится жара,
В синем зеркале неба
Отразилась гора.

Гуси-лебеди — гости из нерусской земли —
Облака проплывают над нею вдали.

По скалистым отрогам,
Где орлов голоса,
Неприступно и строго
Чернеют леса.

На вершину взойди — там почувствуешь ты
Вдохновенье полета и власть высоты.

ПРОСТАЯ ПОВЕСТЬ

Мальчиком шестилетним
Я встретил твое рожденье:
Изморозь, черные ветки,
Алых знамен движенье.
Выстрелы в переулках,
Дымное, тусклое небо,
Топот сапог по крышам,
Утренний чай без хлеба.
Рокот и гром Марсельезы,
Скорбь похоронных маршей,
Смех и рукопожатья,
Слезы и радость старших.
Школьное слово «товарищ»
В нашей возникло каморке
Добрый усатым дядей,
Едим дымком махорки.
И, несмотря на тучи,
Холод и дождь колючий,
Ты по ночам мне снилась
Сказкою самой лучшей.
Солнечные просторы.
Трубы поют золотые...
Так о тебе я думал
И ощутил впервые.
Но не под кровлей дома,
А в сквозняках теплушки
Кончились сновиденья,
Горе сломало игрушки.
Мать умерла от тифа.
Грязными кулаками
Я растирал свои слезы,
Путаясь под ногами
Широкоплечих матросов
И бородатых солдат,
Которым некогда было
Оглядываться назад.
С кем разделить обиду,
Ткнуться кому в колени,
Если земля трясется
В грохоте наступлений?
Но не пропало детство,
Не заросло травой,
Ты надо мной наклонилась
И привела домой.
Ясной водой обмыла,
К солнцу лицом повернула,
Ветви берез веселых

Ласково распахнула.
Тихо сняла винтовку,
Стукнула в пол прикладом,
Зоркая и большая
Встала со мною рядом.
Книга раскрыла крылья,
На парту легли ладони,
Зеленый смешной кузнечик
Прыгнул на подоконник.
Вникай, озорной смышлениш,
В жизнь, которой ты дышишь,
Видишь прозрачным глазом,
Розовым ухом слышишь.
Буди барабанным боем
Заспанных и ленивых,
Беги сквозь листву навстречу
Юности торопливой.

Трубы поют золотые,
С кленов дрозды вспорхнули,
Пересекла тропинка
Звездную ночь в июле.
Солнечные просторы,
Дальние расстоянья
Молодости открыли
Первой любви сиянье.
Но не в пчелином гуде,
Не в тишине медовой
Верности ты приказала
Быть ко всему готовой.
Во фронтовой землянке,
На перекрестках боя
Сила твоя и слава
Стали моей судьбою.
Записи в старом блокноте,
Пулей пробитая фляга,
Да обелиск фанерный
В глине лесного оврага, —
Это наследство друга
Тоже всегда со мною,
Слезы твои дождевые,
Смешанные с землею.
Что ж, примешалась горечь
К песне, что в праздник пелась;
К трудным крутым поворотам
Нас приучала зрелость;

К трудным крутым поворотам,
К поискам знаков дорожных,
К разбожествленью статуй
На пьедесталах ложных.
Ржавчина грызла железо,
Время крошило горы,
Но уплывали тучи
В солнечные просторы.
В атомном прахе клубились
Призраки злобы слепые,
Но не смолкали трубы,
Трубы твои золотые;
Сталью ракетоплана
Пели они в поднебесье,
В дальних целинных землях
Русской звенели песней.
С холодом ночи споря,
Ты посылала зори
В страны, где тонет солнце
В темных глубинах моря.

Чем же закончить повесть,
Как же ее озаглавить?
Надо, как говорится,
Вовремя точку ставить.
Только, смотрю, ты снова
Передо мною встала —
Песенки колыбельной,
Жизни моей начало,
Вечное продолженье
Поисков и свершений,
Первоисточник счастья
Будущих поколений.
Значит, опять, как прежде,
Снова пора в дорогу,
И наплевать, что старость
Бродит неподалеку.
Только бы видеть и слышать
В тысячный раз, как впервые,
Солнечные просторы,
Трубы твои золотые...

Осип КОЛЫЧЕВ

ДРУГУ

Мчит реактивная гроза —
Стальная эскадрилья.
Кипящим блеском
бьют в глаза
Заломленные крылья.
Летит
Стремительный
металл,
Белея на морозе...
А звук?
А звук давно отстал
И тащится в обозе.
Как ум людской
нетерпелив!
И в воздухе упругом

Все глубже
с каждым днем
разрыв
Меж скоростью
и звуком...
Мечтаю я
в родной стране
Шагать с эпохой наравне.
Не то
поэзию мою
Ждет
приговор народа,
Что я от жизни
отстаю,
Как звук
от самолета!

ПЛАЩ ДЗЕРЖИНСКОГО

Тянулись с моря облака
И барабанил дождь по крышам.
В час поздний
 с пленума ЦК
Ильич с товарищами вышел.

Машины нет,
 а путь не близкий,
И, на холодный дождь ворча,
Накинул у ворот Дзержинский
Свой плащ на плечи Ильича.

Но плащ надеть
 Ильич не хочет,
И в тишине слова слышны:
— Ведь вас до нитки дождь промочит,
А вы, мой батенька, больны...

Далекий гром басит сурово,
А ветер хлещет, словно бич.
И верный друг подумал снова:
«А вдруг простудится Ильич?»

И произнес:
 — Пустяк. Мне рядом.
Дом крайний. Справа за углом.
До завтра...
 Ночь над Петроградом.
Шагает Ленин под плащом.

Дождь полирует обелиски,
Стучится в каждое стекло.
Идет по городу Дзержинский.
Над Выборгскою рассвело.

В Е Р А

Герой, очерненный наветом,
Сидел за решеткой в тюрьме.
Узнал стороною об этом
Товарищ его в Бугульме.

Он, с толку не сбитый молвою,
За друга, которого знал,
Поклялся седой головою,
Письмо написав в трибунал.

Он видел за дымкой легенды
Комдива страны молодой
И орден без орденской ленты,
Буденовку с красной звездой.

И тот, кто, на горе народа,
Посажен был в тридцать седьмом,
Полкам сорок первого года
В обличье предстал боевом.

На сердце ни пятнышка — чисто,
А совесть ему говорит,
Что званье и долг коммуниста
Превыше смертельных обид...

Мне были в крутые моменты
Знаменами правды святой
Тот орден без орденской ленты,
Буденовка с красной звездой.

РАЗГОВОР НА ЛЮСИНОВСКОЙ УЛИЦЕ

— В честь кого эту улицу
Нарекли, гражданин?
— В честь кого? —

и нахмурился

Мой знакомый один.

Не турист, что захаживал
В их район новичком, —
Это юноша спрашивал
С комсомольским значком.

Не рассказами куцыми
Наша память живет...

...Был канун Революции.
Шел семнадцатый год.

Губы в ярости до крови
Закусил генерал:
«Всё на том же гектографе...
Не листки — аммонал!..»

И читали средь ночи их,
Сняв с коптилок нагар,
С Михельсона рабочие
И с завода Брокар.

Разрастался боярышник
Над заборами вширь...
— Если схватят вас, барышня,
За листовки — Сибирь.

А студентка Люсинова
Улыбнулась в ответ.

Фонаря керосиновый
Тускло вздрагивал свет.

Были явки, задания,
Боевые дела.

По сигналу восстания
В бой с оружием пошла.

Трудно девушке тоненькой
Из винтовки стрелять.
Пулемет с подоконника
Заработал опять.

Не расслышишь и окрика.
Свищут пули с утра.
Штаб военного округа
Не сдают юнкера.

А в цепи наступающих —
Посмотри, комиссар, —
С Михельсона товарищи
И с завода Брокар!

Хлещет очередь длинная,
Меркнет зарева медь.
— Люся, Люстик Люсинова,
Что с тобою, ответь?!

Как снежком заметенные,
Стынут щеки и лоб...

Трехлинейки скрещенные
Красный подняли гроб.

Над могилою братскою,
Где с зубцами стена,
По заслугам
 солдатская
Почеть ей отдана...

...И о Люсе Люсиновой
Знать и помнить в наш век
Надо, как гражданину, вам,
Молодой человек!

НЕ ЛЮБИ, СВЯЗИСТКА, НАШЕГО КОМБАТА...

Полыхает низко
Киноварь заката.
Не люби, связистка,
Нашего комбата.

Полюбить такого
Было б в самый раз,
Да в атаку снова
Бросят утром нас.

Пуля зла до визга,
Сердце без наката.
Не люби, связистка,
Нашего комбата.

А к тому ж заране
Ты должна учесть,
Что жена в Казани
У' комбата есть.

Не убьют — поминки
Справишь по любви:
Он вернется к жинке,
Сколько ни зови.

А погибнет близкий —
Тяжела утрата...
Не люби, связистка,
Нашего комбата.

Анисим КРОНГАУЗ

БОКСЕРСКИЕ ПЕРЧАТКИ

Старые боксерские перчатки
Подарил мне человек седой,
Чтобы я на лестничной площадке
Испытал, что значит первый бой.

Их надев,
Смелея постепенно,
Силился я тайну разгадать,
Как он мог такую драгоценность
Мальчику соседскому отдать.

Первый бой запомнился нетвердо.
Только —
Удивленье — я не трус,
Синяки, темнеющие гордо,
На губах солоноватый вкус.

Боль я отогнал, синяк потерши,
Но потом,
Средь многих лет и дней,
Были поражения погорше
И победы были потрудней.

Поражение первое забылось,
И победа помнится едва.

С первой схватки больше не кружилась
От ударов веских голова.

Хоть душа к боям не охладела,
Битвы не утихли, не прошли,
Но перчатки старые без дела
Много лет валяются в пыли.

И сегодня отдал я перчатки
Мальчугану с пухом над губой,
Чтобы он на лестничной площадке
Испытал, что значит первый бой.

Их надев,
Смелея постепенно,
Силится он тайну разгадать,
Как я мог такую драгоценность
Мальчику соседскому отдать.

Как и я когда-то, не поймет он
На пороге нынешнего дня,
Что иные у меня заботы,
Что бои другие у меня.

ВОЕНПРЕДЫ

Это люди с кремневою волей...
Да услышат они похвалу!
Средь сосновых уральских раздолий
От стрельбы они глохли в тылу:

Всех калибров стволы боевые,
Выполняя военный закон,
Им сдавали экзамен, впервые
На секретный попав полигон.

И по строгости всей перед фронтом
Отвечала за подпись душа:
Под огнем не займешься ремонтом,
Безотказность одна хороша!..

Сознавала душа военпреда,
Что лихой доставалась ценой
Долгожданная наша победа
На родимой земле ледяной!

И грузили орудья ночами...
Даже хвойный надежный заслон
Замечал под скупыми лучами,
Как сменял эшелон эшелон.

Сон в квартире валил опустелой,
Все ушли на завод, и, ясна,
Заглянуть сквозь окошко хотела
Лишь одна вековая сосна.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Памяти комсомольского поэта Александра ЯСНОГО

Я захлебнусь соленой кровью,
не досказав свои слова.
Александр ЯСНЫЙ

1924 ГОД

Комсомола певцы молодые,
Мы с тетрадками шли в губком...
Там вились облака седые:
Так чадили мы табаком!

Нашу музу, как невидимку,
Не задерживал часовой,
И в губкоме, пройдя в обнимку,
Открывали мы праздник свой.

Изумительные хоромы
Для собраний губком забрал,
И от кожанок с блеском хрома
Почернели глаза зеркал.

Распевали мы не о грезах,
Не о розах, не о вине, —

Об излеченных паровозах,
Искалеченных на войне,

О заре, что косынкой алой,
Как девчонка, махнет Днепру...
Вдруг поднялся чернявый малый, —
Что приснилось его перу?..

Сашка! Хлопцы оторопели:
Ну, откуда о смерти блажь?
Разве в серой еще шинели,
Разве носишь ты патронташ?

Нет! С махновским тупым обрезом
Смерть давно не стоит вблизи:
Заржавелым он стал железом
И на свалке лежит в грязи!..

1944 ГОД

...Мы чернявого офицера
Провожали в тревожный год,
Но жила у нас в сердце вера
Лишь в отрадный один исход.
Перед новой дорогой трудной
Пели песни мы до утра
В комнатенке в Москве, на Трубной,
Как в дни юности у Днепра.
И не вспомнились даже строки,
Поразившие прямою...

Словно стерли их вовсе сроки
С каждой точкой и запятой!
А предчувствие, верно, было
В горьких мужественных словах:
За Дунаем его могила, —
Ветлы Венгрии в головах!
Недосказанное стихами
Досказал навсегда в бою
И незримо остался с нами
В несгибающемся строю.

МАЙ В ИЗМАЙЛОВЕ

Лучше майских
нету дней на свете!
Май
растормошил,
зацеловал!..
Это в Подмосковье
на рассвете
Катится
черемуховый вал..
Если от настольного букета
Может закружиться голова,
Что же на дорогах, ждущих лета,
Где дрожит от радости трава?!.
Оставляю я ключи соседу —
Мало ль кто заглянет без меня!
На метро в Измайлово уеду,
Воскресенье истинно ценя.
Не держась исхоженной тропинки,
Прямо в закоулки забреду.
Даже пропыленные ботинки
Сами искупаются в пруду..
Ходит май по зарослям зеленым,
Словно меж стволами — человек,

Забелел черемухой по склонам,
Облаками — в водоемах рек.
Реки — и не реки, а речонки,
Просту проточные пруды,
Май и там маячит на лодчонке,
В золотом движении воды.
Там до часа поздних дымных зарев,
Всюду обнимающих Москву,
Одряхлевший «Дворик государев»
В молодую смотрит синеву.
Поросли прутьем его ворота,
На соборе ржавчина видна,
И у моста башня отчего-то
Загрустила, что совсем одна..
Постою на месте знаменитом, —
Вылетает волейбольный мяч..
Как он ловко прыгает по плитам
После неудавшихся подач!
И спешит веселая ватага
По дороге в чуть сквозистый бор,
Где в обнимку ходят вдоль оврага,
Где едва виднеется собор...

Михаил КУРГАНЦЕВ

*
* *

В комнату через форточку
Втискивается сквозняк.
На обоях солнечный зайчик
Величиной с пятак.
Лоскут голубого неба
Висит в оконном стекле.
Пучок запыленных ландышей
Лежит на твоём столе.

Но есть настоящее небо —
Не из окна клочок,
Есть настоящее солнце —
Не на стене пяточок,
Есть настоящий ветер —
Не комнатный сквознячок,
Есть настоящие ландыши —
Не по рублю пучок!

ВЫСОТА

Этот воздух
Ничьих не касался губ.
Я вдохнул его первым,
Подняв ледоруб.

И коснулся горь,
Снегового плеча
И почувствовал,
Как моя кровь горяча.

И теперь,
Если вниз,
То не страшно ничуть.
Не померкнет век
Этих скал красота.

Знает сердце мое,
Знают губы и грудь,
Как трудна высота,
Как сладка высота!

*

* * *

Девушка шагает по тропинке,
Что-то незнакомое поет.
Ковыля колышутся былинки.
Девушке идет двадцатый год.

Приглядеться — некрасива вовсе,
Ничего особенного нет.

А вот ржи набухшие колосья
Кланяются девушке вослед.

И возьми она сейчас — исчезни,
Сразу станет сумрачно кругом.
Даже в небе жаворонка песни
Зазвучат неведомо о ком...

Григорий ЛЕВИН

ДРУГУ, ВСТРЕЧЕННОМУ НА ФЕСТИВАЛЕ

Глаза далеко за полночь смежая,
Я мыслью облетаю рубежи.
Страна чужая — до тех пор чужая,
Пока в ней не найдешь родной души.

А коль нашел—сбираешь по крупицам
Черты страны, в которой друг живет.

Листаешь карты, бороздишь страницы,
Где звон полей и шум далеких вод.

И всё, что нам казалось очень дальним,
Дошедшим сквозь пространства и века,
Всё стало зримей, резче и реальной,
Когда блеснул твой взгляд издалека!

МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ

(Из драматической поэмы)

Ломоносов, Ирина.

Ломоносов *(ходит в раздумье)*

Жизнь против воли множит мне года...
Чем вспоминать меня потомкам юным
В тот век времен неведомых, когда
Мой легкий прах развеет вихрем буйным?
О чем расскажут им мои следы?
Немного их на тропах нешироких,
И не всегда, как следует, тверды,
И не везде, как надобно, глубоки!

Ирина

Что хочешь ты?.. Утишить все печали
И все болезни страждущих людей?
Раздвинуть мир широкими плечами,
Чтоб стал он больше, шире и светлей?
Развеять мрак, сгустившийся над нами,
Али познать начало всех начал?
Аль укротить прибой с его волнами,
Сказать — «Молчи!» — и чтобы он молчал?
В небесны сферы к звездам возноситься?
Все это людям вряд ли по плечу...
Ты лишь обычный смертный, а не птица,
Али не дух святой!..

Ломоносов

А я хочу!

Тебе ль Егорку нашего не знать:
Старик идет на подвиг непосильный...
И я хочу встречь подвигам шагать,
И чтобы каждый шаг был семимильным!
И я ночами расширяю день,
Часы считаю, берегу минуты.
Но нет рассвета!.. Все мрачнее тень,
А на ногах все тяжелее пути!..
Таких ли мог бы я достичь высот!..

Ирина

Не зря Егорка выдумал под старость:
«Без паруса и лодку не несет,
Без ветра — не спасение и парус»... *(С мягкой иронией.)*
Скажи, пиит, скажи-ка: почему
Словинки этой мудрой не упомянул?.. *(Убежденно.)*

Не доставлял ты лености уму!
Вся жизнь твоя, вся жизнь, Михайло, подвиг!..

Ломоносов

Мох и на диком камне плодоносит,
Но от его невидимых плодов
Корысть какая!..

Ирина

Он векам приносит
Немую жертву... Через сто годов
На месте камня будут зреть дубраву...
В ее тени, в прохладе, в тишине
Мох обретет заслуженную славу:
Ведь он...

Ломоносов

Такая слава — не по мне!
Я и Россия — с нею мы едины!
Меж нами есть негласный договор:
И светлые и черные години
В веках грядущих!.. Слава и позор!..
И первенство России в целом свете,
Крушение ее, что целый свет
Вдруг увидал бы, — я за все в ответе
И в этот день, и через тыщу лет!..
Я эту ношу принял добровольно,
Мне сладок этот добровольный груз!..
Пускай душе ежесекундно больно,
Я все ж люблю тебя, святая Русь!..
Стремись, шуми, теки рекой обильной!
Сбирай богатство вод со всех сторон!
Не устрасит тебя ни враг всесильный,
Ни ярость бурь во все круги времен!
Извне какая б сила ни грозила, —
Всех пришлецов Россия победит!..
Я верю: будет мощь твоя, Россия,
Превыше мощи гор и пирамид!
И радостью, и завистью наполнясь,
Восток и Запад — страны всей земли —
Пусть смотрят все на твой пример и промысл,
Пусть смотрят все!.. И чтят дела твои,
И силу войск, и честь от многих тронов,
Великость дел и редкость прежних бед,
Любовь народов, твердь твоих законов!
Являй собой, являй бессчетно лет
Начальный луч в середине всех планет!..

З И М О И

Кружится снег, кружится снег.
Земля все выше, небо ниже...
И вдруг какой-то человек
Летит стремительно на лыжах,
С горы ветрам наперерез
Летит, похожий сам на ветер,
И вот уже вдали исчез,
И не успела я заметить
Ни губ, ни глаз его, ни рук,
Ни возраста его, ни роста,
Но весь он мне открылся
вдруг
В изгибе туловища остром.

Казалось, прокатился сплав
Из дерзкой воли и упрямства,
Зеленым шарфом исхлестав
Неукротимое пространство.
Кружится снег, кружится снег.
Земля все выше, небо.
Со мною этот человек
И полсекунды рядом не был,
Но стало легче мне идти,
Как будто бы снега осели,
Как будто бы на самом деле
Отважный лыжник прихватил
С собой неистовство метели.

Ж Е Н А

Работал парень, словно бог,
Цемент месил он и песок.
А рядом в телогрейке синей
Работала его богиня,
Работала под стать ему.
И не в романе — наяву
Висели рядышком их фото
На заводской Доске почета.
Теперь там карточка другой.

Богиня сделалась женой:
Обои розами цветут,
И просо желтое клюют
Два петуха на полотенце,
И фото в рамке в виде сердца
Висит на ситцевом ковре.
Стекло оконное в заре,
И женщина спиной к стеклу
Вдевает мулине в иглу.
Одна рука уже привычно
Обмотана добром тряпичным,
Движением другой руки,

Заканчивая хвост павлиний,
Выводит женщина стежки.
Да крестики на парусине.
А муж работает, а он
Все так же делает бетон.
Но рядом в телогрейке
синей —
Другая — не его богиня.
А руки! Ну совсем, как те —
В песке, цементе и воде,
Которые он после смены
Когда-то так самозабвенно
Отогревал и целовал
И золотыми называл...

Припомнит все он. И домой
Придет немножечко чужой,
И женщину, что у порога,
Что в шлепанцах на босу ногу,
С иголкой в отвороте платья,
Не поцелует, не погладит...
И самому-то невдомек,
Откуда взялся холодок.

*
* *

Сколько нас, нерусских, у России,
И татарских, и иных кровей,
Имена носящих непростые,
Но простых российских сыновей!

Любим мы края свои родные
И вовек — ни завтра, ни сейчас —
Отделить нельзя нас от России —
Родина немислима без нас.

Как прекрасно вяжутся в России,
В солнечном сплетении любви,
И любимой волосы льняные,
И заметно темные мои.

Сколько нас, нерусских, у России,
Истинных российских сыновей,
Любящих глаза небесной сини
У великой матери своей.

Казань, 1957

Тамара ЛИХОТАЛЬ

СТИХИ О ХЛЕБЕ

Нарезан крупными ломтями,
Он на тарелке перед нами,
Ржаной, пшеничный, ситный.
Дешевый он и сытный.
Хлеб! Перед нами он такой,
Он к пекарю пришел мукой.
Кружился вихрем в жерновах,
Лежал зерном в тугих мешках.
В машинах их возили
И на руках носили.

У тех парней, у тех девчат
Плечи до сих пор болят.
Он рос в земле — колюч,
упрям.
Он в поле колосился.
Он бригадиру по ночам,
Побитый градом, снился.
И не было страшнее сна.
Хлеб! — У него своя цена.

КОНТОРА

В степи был в землю вкопан прочно
Весь свет объездивший вагон.
С тех пор далеко виден ночью
В окошках маленьких огонь.
И вот простой вагон, который
От старости был жив едва,
Осев на землю, стал конторой
На участке номер два.
И инженер, начальник цеха,
«Решал очередной вопрос»,
Потом в гостиницу поехал
И чемодан с собой привез,
И поселился сам в вагоне.

Когда он ест? Когда он спит?
Весь день спешит, усталость гонит,
Всю ночь в окошках свет горит.
Он не мечтает об уюте,
Он на посту в своей каюте.
И он живет в вагоне этом,
В тревоге дел, в железном гаме.
Стена оклеена газетами,
И все страницы вверх ногами.
Здесь звезды сварки, как зарницы,
Здесь пятилетка — перегон.
Теперь он в будущее мчится —
Тот в землю вкопанный вагон.



Как не любил он славословий
И юбилейной суеты!..
Наш трудный век,
Наш век суровый
Запечатлел его черты.

Высокий лоб под кепкой серой
И темно-карие глаза.
В них столько правды,
Столько веры,
Что ни хитрить, ни льстить нельзя.

Он не терпел признаний громких,
Боялся архизвонких фраз.
И благодарные потомки
Об этом будут знать от нас.

И рассказать об этом надо,
И надо так его любить,
Чтоб ложным жестом,
Льстивым взглядом
Той правды нам не оскорбить.

АППАССИОНАТА

Поток обрушился и, вспененный,
Кипит, на камнях клокоча.
Сосредоточен взгляд у Ленина,
Прищурен взгляд у Ильича.

Встает народное предание,
Летит легенда,
Марш звенит..
И скорбь, и радость, и страдание,
И страсть находят свой зенит.

Пред Ильичем лицо скуластре,
Копна волос над мощным лбом.
Глухой,
Над целым миром властвуя,
Он не был никогда рабом.

Жизнь обдавала зноем,
Холодом,

Он знал, что сердце лишь одно,
И славу, и любовь, и молодость —
Все сразу не вместит оно!..

Аудитория взволнована,
И каждый в звуки погружен.
И Ленин слушает Бетховена,
Как только может слушать он.

Чуть голова назад откинута,
Ильич не поднимает век..
Поток грохочет.
Даль раздвинута.
Шагает к счастью человек.

Земля ветрами атакована,
Бьет океан со всех сторон.
И Ленин слушает Бетховена,
Как только может слушать он!

СТЕПЬ

Здесь со степью вступили
В неслышанный спор.
Соль блестит
На спине и плечах.
И натужно гудит,
Надрываясь, мотор,
И скрипит
 на зубах
 солончак.

Так живут трактористы —
Большая семья —
В раскаленной степи,
Как в печи.
Двадцать пять километров
От них до жилья
И, считай, пятьдесят до Керчи.

Ни дождевики —
Прошли облака стороной.
Ни озер,

Ни колодцев,
Ни рек.
Этот каменный,
Зыбкий,
Сжигающий зной
Может вынести лишь человек.

На попутной машине
Бочонок подкинь —
Не хватает воды тракторам...

Я вернулся на север
В осеннюю стынь,
Где дожди моросят по утрам.
Здесь не льют в радиаторы
Воду из фляг,
Но отсюда мне стали видней
Степь,
Пустая палатка
И выцветший флаг,
Неподвижно висящий над ней.

ПАРИЖАНИН

Приехал в Москву парижанин.
Зовут парижанина Пьер.
Тоской непонятной ужален,
В осенний выходит он сквер.
Московским березам и кленам
Французские шепчет слова.
Все ходит и ходит
Мальчишкой влюбленным,
Кружится его голова...

Немногие знают на свете,
Чем вызвана эта любовь.
Зовут парижанина Петя.
Он русский. В нем русская кровь.
И пусть никогда он здесь не был,

Рожденный в далекой стране,
Сегодня грустит он
Под ласковым небом,
Под небом в закатном огне.

Красивый турист — парижанин
Осенней Москвою идет.
Спешат по делам горожане.
Москва своей жизнью живет.
Она для него — заграница,
Зачем же волнуют до слез
И русские песни,
И русские лица,
И золото русских берез?..

НА ПЕНСИЮ

За окнами тихо спускается снег,
И младший архивный сотрудник Нина
Завороженно, как во сне,
Провожает полет снежинок.

Посмотрела и вдруг не смогла
Оторваться. Такая погода!
На столе дела и дела —
Приказы двадцатого года.

Трудное время, суровый пейзаж
Встают с полустертых страниц, оживая:
Посты и приварок, вши и фураж,
И революция мировая.

А нынче где-то в деревне лесной,
Недавно ушедший с работы,

Пишет письмо Василий Яснов,
Бывший лихой комроты.

На шее рубец и еще рубец,
Но он старается не замечать их —
Раненьям не верит районный Собес
Без справки с архивной печатью.

И если сейчас непрочтенной строкой
Мелькнет перевернутая страница,
Каким оскорблением, болью какой
Это в деревне лесной отразится...

Нина глаза опускает к листу.
Пусть падает снег.
Она — на посту.

ЗОЛОТЫЕ ЖИЛЫ

Как говорят седые старожилы,
Здесь на заре глубокой старины
Искали предки сказочные жилы
Для пополнения золотом казны.
Я вспомнил их наивные рассказы,
Когда в степи, измученный ходьбой,
Я отдыхал.
Насколько хватит глазу,
Шумел над степью золота прибой.
Попробуй крикнуть—не услышишь голос
В пяти шагах. Пшеница, как стена.
Уставший ветер чуть колышет колос,
Набитый плотно золотом зерна.
Я начинаю верить старожилам...
Знать, предкам было здесь не суждено
Найти вот эти сказочные жилы,
Что льют по стеблю золото в зерно.

БИОГРАФИЯ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Гудки «кукушек» маневровых
Тревожат в памяти моей
Военный облик дней суровых,
Неповторимых давних дней...

Бомбардировщики с крестами
В гудящем небе над Москвой,
Блестя тупыми плоскостями,
Шли в двадцать два часа волной.

Земля дрожала, как от пытки,
Земля вставала на дыбы.
И, головы задрав, зенитки
Тряслись от яростной пальбы...

В тринадцать лет, простившись с детством,
Мы в дни обрушившихся бедствий
Шли рыть под стенами Москвы
Противотанковые рвы.

Мы по ночам, усеяв крыши,
Несли дежурство у НП.
Казался каждый из мальчишек
Штыком, привинченным к трубе.

И зажигалок свист заслыша,
В самоотверженном броске
Мы бомбы сбрасывали с крыши,
Чтоб потушили их в песке.

Нам слали из военкомата
Категорический ответ,
Как будто люди виноваты,
Что им всего тринадцать лет!

РЕВОЛЮЦИЯ

Революция
Назревала,
И затем она разразилась.

Алый стяг она развевала,
Вдруг как будто
Затормозилась.

Тормозилась она богачами —
Улещали ее речами,
Прекращали в самом начале,
Чтобы не было им печали.

Но пошла она в наступленье,
С ветхих петель срывая двери,
Возглашая свои вельня
Над развалинами империй.

Революция расковала
Всех томившихся в казематах,

Революция раскрывала
Беднякам глаза на богатых.

Бедняков она поднимала,
Обнимала по-пролетарски,
И без слов она понимала
По-латышски и по-мадьярски,

По-китайски и по-немецки,
И по-чешски и по-словацки,
Чтоб со всеми жить по-соседски,
Договариваться по-братски.

Помним мы, как она назревала
В копях, в шахтах, во мгле подвала,
В бесконечных хвостах за хлебом
И под смрадным окопным небом.

ПОЭТ

О, вы, которые уснули
Меж двадцатью и сорока
От яда, от петли, от пули,
Елея или коньяка,
Вы, Лермонтов, Есенин, Шелли
И Сирано де Бержерак,
Я спрашиваю:

Неужели
Я старше вас?

Да, это так!
И каждый, кто своей рукою
Коснулся острого пера,
Чтоб больше не иметь покоя,
Тот должен знать — она стара,
Та истина, что в самом деле,
Будь моложав он или сед,
Он старше Байрона и Шелли,
Виргилия и Руставели,
Он старше, если он — поэт!

ПЕСНЯ О ДВУХ ЛАДОНЯХ

Одной ладонью в ладоши не ударишь.
Узбекская поговорка.

В ладоши
Ладонью одной
Не ударишь.
Дорог в дороге
Друг и товарищ.
Две неразлучных
Струны
У дугара.
В дружбе живет
Их счастливая пара.
Строчка
В стихах
Не живет
Одиночкой.

Дружно рифмуется
Строчка со строчкой.
С другом вдвоем
Не устанешь от ноши.
В лад ударяют
Под песню
В ладоши.
В лад
Ударяет
Ладонь о ладонь.
Сталь и кремь
Высекают огонь.

ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

I

Неужели я тот же самый,
Что, в постель не ложась упрямо,
Слышал первый свой громкий смех
И не знал, что я меньше всех?

И всегда-то мне дня было мало,
Даже в самые долгие дни,
Для всего, что меня занимало —
Дружбы, драки, игры, беготни.

Да и нынче борюсь я с дремотой
И ложусь до сих пор с неохотой
И ночному покою не рад,
Как две трети столетья назад.

II

Столько дней прошло с малолетства,
Что его вспоминаешь с трудом.
И стоит вдалеке мое детство,
Как с закрытыми ставнями дом.

В этом доме все живы-здоровы —
Те, которых давно уже нет.
И висячая лампа в столовой
Льет по-прежнему теплый свет.

В поздний час все домашние в сборе —
Братья, сестры, отец и мать.
И так жаль, что приходится вскоре,
Распрощавшись, ложиться спать.

РАЗГОВОР С ВНУКОМ

Позвал я внука со двора
К открытому окну.
— Во что идет у вас игра?
— В подводную войну!

— В войну? К чему тебе война?
Послушай, командир:
Война народам не нужна.
Играйте лучше в мир!

Ушел он, выслушав совет,
Потом пришел опять
И тихо спрашивает: — Дед,
А как же в мир играть?..

Ловя известья, что с утра
Передавал эфир,
Я думал: перестать пора
Играть с войной, чтоб детвора
Играть училась в мир!

ЗАПОМНИМ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Запомним день календаря,
Когда шагнули мы к планетам.
Пусть будет этот шаг приветом
Сорокалетью Октября.

Давно ль, склонившись, Циолковский
Чертил маршрут второй луны.
А нынче с улицы московской
Бинокли вверх устремлены.

Они снуют по небосводу
И остановятся, когда
В пределы стеклышка, как в воду,
Войдет советская звезда.

Мы тяжесть силой побороли,
Вступая в сорок первый год.

Преград не ведает народ,
Одушевленный общей волей.

КАК СУРОВЫМ И ТВЕРДЫМ МНЕ БЫТЬ?..

Очень часто сыновней судьбой
Я тревожусь в бессонницах длинных:
Как пойдет он, дорогой какой?
Хватит выдержки, воли у сына?
Ничему он не знает цены,
Все ему разрешается в доме.
Мы умом его восхищены
И со взрослыми гордо знакомим.
Где железную строгость мне взять,
Чтоб мальчишку одернуть смелее,
Чтоб молчала разумная мать
И к нему не спешила, жалея?
Как суровым и твердым мне быть,
Если детство мое голодало
И просило — тифозное — пить
На холодном бетоне вокзала?
Как суровым и твердым мне быть:
На войне моя юность сгорела,
И когда мне хотелось любить,
Над окопами ненависть пела.
Видно, в этом тяжелом пути
Поселилась в отцах мягкотелость...
Воспитание сына вести
Мне бы вовсе не этак хотелось...

О Р А Т О Р

Ну и оратор, — голова!
А жесты, жесты — дровосек!
Когда б рубил он так дрова,
Не тратил попусту слова,
Хороший был бы человек.

Е Ж

А знаете, друзья, что еж
Был с мягкой шерсткою когда-то,
Бывало, на руки возьмешь, —
Покорный, смотрит виновато.

Но объявилась вдруг лиса,
Защелкали зубами волки,
И стали колкими глаза,
И выросли иголки.

ИЗ ЦИКЛА «ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ»

«БЕРЗАРИНШТРАССЕ»

Прошел автобус пригородных линий,
Рекламами заклеены бока.
«Берзаринштрассе» — улица в Берлине.
На всем сиянье майского денька.

За месяц мы ко многому привыкли,
И нас уже ничем не удивишь:
Вот пастор прокатил на мотоцикле,
Пронес разносчик будку из афиш.

Монашка в одеянии крылатом
Шагала, очи опуская вниз.
На важного похожий дипломата
В своем цилиндре ехал трубочист.

Следов огня здесь нету и в помине,
Развеялся давно последний дым.
«Берзаринштрассе» — улица в Берлине.
А я-то знал Берзарина живым.

Я знал его в минуту неудачи,
Когда в огне редел за взводом взвод,
Когда кричал он в телефон горячий,
Что сам умрет, а высоту возьмет.

И был исход сражения известен,
И бурю была чревата тишь,
Когда являлся в самом трудном месте
Тот коренастый, маленький крепыш.

Я восхищался выдержкой и силой,
Когда от целой армии тайком,

Склоняясь над солдатской могилой,
С лица стирал он слезы кулаком.

Не знаменит хозяйственным талантом,
Во всем военный — с ног до головы,
Он стал в Берлине первым комендантом
От имени России и Москвы.

Живя один в квартире небогатой,
Где весь уклад еще дышал войной,
Он правил с прямодушием солдата,
Сообразуясь с совестью одной.

Еще столбами в небе дым маячил,
Еще никто не разбирал руин,
Он, как Христос, один решал задачу —
Тремя хлебами накормить Берлин.

Вставая ночью, будто по тревоге,
Глаз не смыкая сутки напролет,
Не помня зла, отходчивый и строгий,
Он был таким, как и его народ.

Вся жизнь его похожа на былинку.
И мог ли я представить в том году,
Что лет через пятнадцать по Берлину
Я улицей Берзарина пройду?!

...Да, это так, не верим мы, партийцы,
Ни в господа и ни в его приход,
Но все ж души берзаринской частица,
Наверно, в этой улице живет!

РЕМОНТ БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ

Поражая внушительным весом,
Глыба камня под краном плывет.
Смотрят немцы с большим интересом
На ремонт Бранденбургских ворот.

Признаюсь, мы с тобой виноваты,
Мой дружок, фронтовой мой собрат,

В том, что в майские дни, в сорок пятом
Здесь был сильно попорчен фасад.

Здесь все в той же отчаянной позе,
От испуга отпрянув назад,
Как в разбитом военном обозе,
Одичавшие кони стоят.

Лишь репейник колючий и длинный
Прорастает в расщелинах плит.
Только в Западной зоне Берлина
Этот страшный урок позабыт.

Пахнет краской и пылью кирпичной
Это мирное утро труда.
Словом, все здесь сейчас, как обычно,
Как бывает на стройке всегда...

Я под сенью гранитного свода
С непокрытой стою головой,

Рядовой сорок первого года,
Ополченец второй мировой.

Сам шагавший без сна и привала,
Сам спасавший свой собственный дом,
Сам терявший на свете немало,
Я мечтаю теперь об одном:

Чтобы дети различных народов
Без боязни глядели вперед,
Чтобы не было лишних расходов
На ремонт Бранденбургских ворот.

ПОД МОСТОМ

Дешевой песенки мотив
Плывет над уличной толпой:
Всю ночь на Александерплац
Играет музыкант слепой.
Берет, вельветовый пиджак,
Потрепанный аккордеон.
Из зоны Западной сюда
На промысел приходит он.
Глядят умершие глаза,
Не выражая ничего.
Глухая ночь теснится в нем,
Глухая ночь вокруг него.
Так и играет музыкант,
В двойную вглядываясь тьму,
И только дождь на мостовой
Аккомпанирует ему.
Входил ли он в горящий Псков,
Стремился ль с ходу взять Кавказ?
В каком краю сиянье дня
Увидел он в последний раз?
В военном госпитале врач
Ему ничем не смог помочь.
И навсегда в его глазах
Осталась фронтовая ночь.

Худые пальцы то ползут,
То вдруг припустятся бегом.

Я знаю, этот человек
Недавно был моим врагом.
Какого черта он, слепец,
Полез к чужому рубежу?!
Я не злорадствую, о нет!
Я с болью мимо прохожу.
Играет бедный музыкант,
Ременьми грудь перекрестив.
И так нелепейше звучит
Фокстрота модного мотив,
И так не движутся глаза,
И так сидит он, тих и прям,
Что кажется — в его руках
Аккордеон играет сам.
Лишь только свет внезапных фар
В очках мерцает иногда...

Я слышал, будто вы опять
Войны хотите, господа?!

КАЛЕНДАРЬ

Покидаю Невскую Дубровку,
Кое-как плетусь по рубежу, —
Отхожу на переформировку
И остатки взвода увожу.

Армия моя не уцелела,
Не осталось близких у меня
От артиллерийского обстрела,
От косоприцельного огня.

Перейдем по Охтенскому мосту
И на Охте станем на постой,
Отдирать окопную коросту,
Женскую пленяться красотой.

Охта деревянная разбита,
Растащили Охту на дрова.
Только жизнь, она сильнее быта:
Быта нет, а жизнь еще жива.

Богачев со мной из медсанбата.
Мы в глаза друг другу не глядим, —
Слишком борода его щербата,
Слишком взгляд угрюм и нелюдим.

Слишком на лице его усталом
Борозды о многом говорят.
Спиртом неразбавленным и салом
Богачев запасливый богат.

Мы на Верхней Охте квартируем,
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем
Памятные сердцу моему.

Помню, помню календарь настоль-
ный,
Старый календарь перекидной,
Записи на нем и почерк школьный,
Прежде — школьный, а потом —
иной.

Прежде — буквы детские, смешные:
Именины и каникул дни.

Ну, а после — записи иные,
Иначе написаны они.

Помню, помню, как мало-помалу
Голос горя нарастал и креп:
«Умер папа». «Схоронили маму».
«Потеряли карточки на хлеб».

Знак вопроса — иступленно дерз-
кий,

Росчерк — бесшабашно удалой.
А потом — рисунок полудетский:
Сердце, пораженное стрелой.

Очерк сердца зыбок и неловок,
А стрела перната и мила, —
Даты первых переформировок,
Первых постояльцев имена.

Друг на друга буквы повалились,
Сгрудились недвижно и мертво.
«Поселились. Пили. Веселились». —
Вот и все. И больше ничего.

Здесь и я, с другими в соучастье.
Наспех фотографии дая,
Переформированные части
Прямо в бой идут с календаря.

Дождь на стеклах искажает лица
Двух сестер, сидящих у окна.
Переформировка длится, длится,
Никогда не кончится она.

Наступаю, отхожу и рушу
Все, что было сделано не так,
Переформировываю душу
Для грядущих маршей и атак.

Вижу вновь, как, в час прощаясь
ранний,

Ничего на память не берем.
Умираю от воспоминаний
Над перекидным календарем.

*
* *

Народ всеильный долго был безволен
И забывал, уйдя в свои дела,
Что сам построил башни колоколен
И сам втащил на них колокола;

Что сам воздвиг престолы, кабинеты,
Возвел в палатах красные углы,
Что сам чеканил звонкие монеты,
Сам отливал ружейные стволы.

Упорный, даровитый, молчаливый,
Он сотни лет учился говорить.
И наконец, воистину счастливый,
Свободно стал работать и творить.

Его судьба светла и знаменита,
Пора ему все почести воздать.
Да жаль — не хватит на земле гранита,
Чтобы народу памятник создать.

А может быть, ему совсем не нужно
Ни пиков, устремленных к небесам,
Ни монумента, ни звезды жемчужной
Иль золотой... он награждает сам.

Он сам дворцы и памятники строит,
Сам вдохновенный складывает стих,
Сам посвящает в рыцари, в герои,
Сам иногда развенчивает их.

Герои смертны, — вот они, могилы:
Одним лишь холмики, другим — холмы.
Народ бессмертен, вечно полон силы,
«Я» умирает, остается — «мы».

Любая боль в народе заживает.
Все — по плечу. Со всеми — напрямик.
И сам народ вовек не забывает,
Что только он всеилен и велик.

НАШ ДОМ

Давным-давно пора домой,
Дорога нам знакома,
И вот мы, давний спутник мой,
Мой милый спутник, дома!

Но что с тобой? Бросает
 в дрожь
Тебя июльским вечером...
Неужто ты не знаешь
Наш дом в Замоскворечье?

Все тот же и не тот же он...
Бежим стремглав по лестнице.
И вот уж рядом небосклон,
Рукой подать до месяца.

Ого, какая высота!
Смутится взгляд отважный...
Все м небоскреба не чета
Наш дом многоэтажный.

В сиянье, сходный со звездой,
Он переполнен светом...
Подумать лишь, что мы
 с тобой
Живем в дому вот этом!

Как в землю, врос он
 в облака,
И с выси дерзновенной
Видны далекие века
И все миры вселенной.

Он весь — стремленье и порыв,
Он — праздник мысли
 страстной,
В нем вечно юн и вечно жив
Наш подвиг ежечасный.

Богатствам нашим счёта нет,
Ведь устали не зная,
Над ним трудилась сорок лет
Моя семья большая.

РУССКАЯ ОСЕНЬ

За картошкой к бабушке
ходили мы,
вышли, а на улице теплынь...
День, роняя лист осенний,
обнажая замыслы растений,
чистый и высокий —
встал перед людьми.
Всякий раз
я вижу эти тропы,
ели эти,
и стволы берез.
Почему смотреть не устаешь —
Миг
и час
и жизнь
одно и то ж!..
О, какие тайны исцеленья
в себе скрывают русские поляны,
что, прикоснувшись к ним однажды,
ты примешь меч за них,
и примешь смерть,
и вновь восстанешь,
чтоб запечатлеть
тропинки эти,
и леса,
и наше небо.

ГОТИКА

Взлетали стены,
суживаясь, к солнцу,
И свод, как череп изнутри,
Вздымал надбровницы и дуги
Без позолот и мишуры.
Лишь, щеки пышно надувая,
в серебряные дудочки играют
младенцы-ангелы в раю.
Одеты в ризы кружевные,
стоят надменные святые.
Вот с библией в руках
на пьедестале каменный монах,
и руки, словно клювы
хищной птицы,
терзают вечные страницы,
высасывая ересь из листов.

Лоб затемняют складки капюшона
и провалились щеки внутрь лица.
Но губы он
не спрячет никуда,
они сочны,
влажны
и тайно любят
больше бога.
Такие вот Европу начинали,
ее богами украшали,
поили кровью наповал,
потом делили пополам.
Потомки ручки их целуют,
поклоны бьют
и свечки жгут.

БАЛАЛАЙКА

Паренек, а ну, сыграй-ка
Наш поволжский перебор.
Знаешь, эта балалайка
Мне знакома с давних пор.

Мы с отцом твоим когда-то
По селу бродили с ней,
И веселые девчата
Замечали нас, парней.

Мы гуляли с песней громкой
Вдоль села к плечу плечо.
Ноготь с темною каемкой
Бил по струнам горячо.

До сих пор волнует память
Песня, спетая тобой,
Как девицы за грибами
Уходили в лес гурьбой.

Нас тревожил час заката,
Свет луны и свет очей.
Я любил его, как брата,
А возможно, горячей.

И теперь моя округа
Лично мне уже грустна:
Потерял такого друга.
Что поделаешь — война.

Песня старая допета,
Закатился лунный диск.
И молчит за Бугом где-то
Деревянный обелиск.

Паренек, а ну, сыграй-ка
Наш поволжский перебор.
Знаешь, эта балалайка
Мне знакома с давних пор.

Елена НИКОЛАЕВСКАЯ

*

* *

И к тому, что похвалят,
И к тому, что ругают —
Ко всему постепенно
Человек привыкает:
К ежедневной заботе,
К еженощному бдению,
К напряженью при взлете,
К пустоте при паденье;
Привыкает к сраженьям,
К тишине и порядку,

Привыкает к лишениям,
Привыкает к достатку,
К незнакомому краю,
Что вдали возникает, —
Словом, к аду и к раю
Человек привыкает,
К знойной яркости юга,
К черноте бездорожной...
Лишь к предательству друга
Он привыкнуть не сможет.

МЕНЯ УБИЛИ НА ВОЙНЕ...

Меня убили на войне,
А я еще не видел жизни.
Друзья сказали обо мне:
Он честно отдал жизнь отчизне.

Была земля белым-бела.
Под одинокой старой елью
Упал я,
А вокруг мела
Весна черешневой метелью.

Чтоб снова начали смотреть
Глаза,
Застывшие, как льдинки,
Тепло и холод,
Жизнь и смерть
Схлестнулись в жарком поединке.

Попробуй сердце пальцем тронь,
Ведь тут нужна не только смелость!

...А врач взял сердце на ладонь,
Потом вдохнул в него огонь,
И сердце снова загорелось.

Жизнь победила.
Перед ней
Смерть отступила не впервые.
Мне стало многое ясней
За три минуты гробовые.
Я, побывав однажды там,
Как гость случайный,
Посторонний,
Могу свидетельствовать вам,
Что жизни нет потусторонней.

Святая правда, без прикрас,
И вы мне на слово поверьте.

...За сорок лет нас много раз
Пытались бросить в лапы смерти!

А умирать мы не хотим.
Но будь у нас и по две жизни,
Мы обе жизни отдадим
Народу,
Партии,
Отчизне!

ТУРИСТ

Путевка стоит тыщу триста.
Мне предложил вчера местком
Поехать в качестве туриста
В страну, с которой я знаком.

Мы вместе с ней делили горе,
Не вез меня туда «Ройс-Ролс».
От Бреста я ее до моря
На животе своем прополз.

Я самым верным патриотом
В ее глухих болотах дрог,
Пропах моим соленым потом
Сухой песок ее дорог.

Мне гид предложит:
— Проше пана
Взглянуть на этот чудный вид!

Но о другом я думать стану,
И вид меня не удивит.

Спрошу у гида я, бесспорно:
— Туда поехать не пора,
Где деревушку Шипиорно
Обвила вкрадчивая Вкра?

Мне объяснили б что-то, вроде
Не можем побывать мы там.
Маршрут экскурсии проходит
По историческим местам

А я отвечу:
— Добрый дядя,
Не спорь, пожалуйста, со мной.
Я полз в деревню эту,
Глядя
В лицо истории самой!

РАЗВЕДКА

Два холмика с пожухлою травой
Снялись, казалось, с места и пошли...
Покачивая пыльной головою,
Верблюд бесшумно зашагал вдали.
Он косо глянул на стекло машины,
И на его насмешливых губах
Глубокие задвигались морщины
И рыжий войлок дрогнул на горбах.

Машина шла в песчаном океане.
А солнце жгло, и небо сквозь стекло
К себе притягивало и влекло,
Как бы прохладная вода в стакане.
Ты говоришь угрюмо: степь пуста,
Пустынные, безлюдные места.

Жара стояла — холода лютей.
Был саксаул, как привиденье злое,
Как пальцы погибавших здесь людей
От бездорожья, пыли, жажды, зноя.
Здесь будет путь проложен.

А сейчас
Скакал разведчик по безлюдной трассе,
Шагал пешком, в машине пыльной тряся, —

Живой пример для каждого из нас.
Обветренные, черные, в пыли,
Путейцы-новички, за ним мы шли.

В пустой степи он видел все, что было,
И все, что есть, и все, что будет здесь.
Во взгляде этом чувствовалась сила,
Как за весельем чувствуется песнь.
Он на песок глядел, но видел травы,
Сады, как на окраинах Полтавы.
Как наяву, он видел жизнь в цвету —
Голодной юности своей мечту.

Таких людей ты, степь, еще не знала.
Прикажет он — и ляжет к шпале шпала.
По новым рельсам побежит экспресс
Туда, где будет поле, город, лес,
Вперед, вперед — в том самом направленье,
Куда рукой показывает Ленин.

...А степь пуста, пески и духота.
Но нет, взглядись:
степь вовсе не пуста!

ДВОРЕЦ В КРЫМУ

Посланы на летний отдых в горы
Токари, обрубщики, шахтеры,
Партизанская седая мать, —
Высокопоставленные лица...

Надо было Зимний штурмом взять,
Чтобы в этом
Летом
Поселиться.

СВИДЕТЕЛИ

До сих пор
В закоулках столицы,
Уходящих уже на покой,
Есть дома, где поют половицы,
Словно клавиши под рукой.

Здесь из еле заметных расселин
На кривой, как дуга, мостовой
Пробивается щуплая зелень,
А порой —
И цветок полевой.

И не липы из дальнего края,
А дубы в человечесий обхват,
Словно гвардия, не умирая,
Посреди тротуара стоят.

Свежей зелени новых посадок
Что-то шепчут листвою они,
Как свидетели классовых схваток,
Что шумели здесь в давние дни.

Я в районе таком проживаю —
И в достойной его старине
Каждый раз для себя открываю
Я досель неизвестное мне.

В ЛЕТНИЙ ЗНОЙ

О чем мне липа шелестела
Когда-то ночью
У окна?
О том, что убежать хотела,
И вот привязана она.
Но днем, когда в дрожащем свете
Томится даже гладь реки,
В тени ветвей играют дети,
Старухи штопают носки.
А старики, как в сельсовете,
Сняв от волнения очки,
Толкуют обо всем на свете:
О внуках,
О любви,

О лете,
О Неру, —
В утренней газете
Портрет и подпись в три строки.
А что же липа?
Словно сказкой,
Дыша июльской Москвой,
Она ответит башне Спасской
Своею чуткою листвою.
И до конца захочет,
Верьте,
В палящий зной и духоту
Стоять сестрою милосердья
На боевом своем посту!

ЯБЛОНЯ

Яблоню сажая, садовод
Знает, что она нетороплива,
Что еще не скоро будет плод
Ровного, хорошего налива.

Ничего, что яблоня мала, —
Садовод ее живущей числит,
И его забота мне мила —
Он по-государственному мыслит.

С этого и надо начинать
Людям работающим и творящим —
Надо так о будущем мечтать,
Чтоб оно рождалось в настоящем!

Константин ОРЕШИН

МАЛЕНЬКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Жить, как живут цветы!
Счастье в том есть не малое:
Из земляной черноты
Синее ткать и алое!

* * *

Седой Казбек обнимешь ты за плечи
И океан промеришь ты до дна.
Но только в сердце глянув человечье,
Увидишь, что такое — глубина!

* * *

На солдата молодого
Робко смотрит чья-то мать
И пропавшего, родного
В нем пытается узнать.
Слова молвить не решится.
Замер вскрик. Подавлен стон.
Полк идет. Суровы лица.
«— Это он!.. Нет, нет, не он...»
Нет, не он! Но ты в надежде
Вновь хватаешь карандаш.
Сколько бурь минует прежде,
Чем желанное создашь!

*

* *

Есть и в хлебе сегодняшнем,
щедро замешанном, черном,
горечь бед миновавших,
пожаров, и крови, и слез,
горечь рваной земли,
зараставшей полынью и дерном,
горечь гари окопной
и горечь ничейных полос.

Не забылось ничто...

Да и как сно может забыться,
всё, что в сердце навек,
как рубец, свой оставило след,
всё, что пройдено там,
всё, что здесь и доньше нам снится,
всё, что врезалось в память
с бессмертных и горестных лет.

И сдаётся порой —

на зубах сгоряча в самом деле
захрустит вдруг не хлебный,
горячий — из печи — ломоть,
а железо, что танки
в полях размолоть не сумели,
и сто лет не сумеют
ещё жернова размолоть.

ПОРТРЕТ

Горит фонарь.
Качается вагон.
...Шел на войну
Гремящий эшелон.

В железном вихре
Ветра и колес
Кружился дым
И падал под откос.

Вторую ночь,
Ветрами опален,
Поет разлуку
Грозный батальон.

Вторую ночь,
Без отдыха и сна,
За ним по шпалам
Гонится весна.

А он поет,
Несясь во весь разгон,
Бессмертный, смертный,
Грозный батальон.

А он поет,
На свой могучий лад...
— Отставить песню! —
Вдруг сказал комбат.

— Отста-а-авить песню! —
Молвил эшелон.
И в этот миг
Увидел батальон:

На полустанке,
В звездной полумгле,
На захмелевшей
Мартовской земле

Вся голубым огнем
Озарена,
Миллионами планет
Окружена.

Две золотых косы
Из-под платка,
Несущая подснежники
Рука.

Взмахнет —
И к звездам может улететь...
Красавица, как звать тебя,
Ответь?!

Откуда ты?
С какой пришла земли?
Мелькнула —
И растаяла вдали...

И нет ее.
И целый перегон
Молчал
Завороженный батальон.

И все казалось:
В звездной полумгле
Она бежит
По мартовской земле.

Она бежит.
Протянута рука.
Две золотых косы
Из-под платка.

И — что скрывать —
Прошло немало лет,
Я сам, друзья,
Храню ее портрет.

БАЛЛАДА О ВЕНГЕРСКОМ СТУДЕНТЕ

Дунайский ветер взял разбег,
Плеснул волной.
Сидит усталый человек
Передо мной.
Он невзначай глаза смежил,
Устав глядеть.
Он руки в кулаки сложил, —
Куда их деть?
В узлах лиловых темных жил
Он руки в кулаки сложил
И на коленях их забыл.
Бывал и раньше в Пеште я,
Здесь у меня живут друзья.
Но этот, что с ним? Просто вздор
Или беда?
Его не видел до сих пор
Я никогда.

Наш пароход несет река.
Молчит сосед.
Устал он, словно жил века,
А ходит по земле пока
Лишь двадцать лет.
Душа в глазах его жива,
А взгляд тяжел и туп.
Дыхание слетает с губ,
Но не родит слова.
Шел пароход четвертый час,
Дунай шумел четвертый час,
Пока я по обрывкам фраз
Расплел его рассказ.
И если видеть только мрак
И ждать от жизни только бед,
Все ж скажет друг, признает враг,
Что злее горя нет.
Да что ж случилось у него?
Сначала ничего.
А просто он с толпой друзей
Шагал по улице своей.
Он был студентом, Шандор Киш,
И добрым был дружкой,
А если все кричат кругом,
То как же ты смолчишь?
А что кричал? Что все кричат:
Что он, мол, Шандор, демократ.
Так почему ж потом, впотьмах,
Он вдруг почувствовал в руках
Холодный автомат?

Так почему же он потом
Стрелял в какой-то старый дом?
А дал приказ

немолодой
В чужом полупальто,
Тот длинный, лысый и худой,
Кто —

неизвестно кто.
Потом он видел сквозь пальбу,
Как двух людей вели к столбу
И вот один — еще живой —
Повис вниз головой.
Кто эти люди? И за что? —
Взметнулся Шандор Киш.
Скривился тот, в полупальто:
— Не узнаешь, малыш?
Тем, кто командовал вчера,
Теперь болтаться тут.
Держу пари, что до утра
Они не доживут! —

А ты глядишь и видишь вдруг:
Висит отцовский старый друг.
В районе партии твоим
Он был секретарем.
Тебе б его загородить,
Вернуть живым назад.
Тебе бы, Шандор, разрядить
В хортиста автомат!
А ты, забыв про все кругом,
Безрукий и немой,
Закинув автомат тайком,
Бежишь к себе домой.
Среди душевной пустоты
Отцовы речи вспомнил ты.
— Коль вдруг останешься один,
Не забывай, что ты мой сын. —
Бывалый чепельский кузнец,
Друг Бэла Куна твой отец.
— Не верь тому, — отец сказал,
Чья не добра рука. —
А ты считал, что все ты знал
Получше старика.
В родном дому, в своем краю
Ты жил, ворча на власть свою.
Да только памятью был слаб,
Забыл от простоты —
Без этой власти никогда б

Не стал студентом ты.
Власть ошибалась? Может быть!
Но все, чем дорожим,
Зачем же нам давать судить
Тем, жадным и чужим,
Кто предал свой родимый дом,
Кто полысел за рубежом!
Тебе бы, Шандор, преградить
Им все пути назад.
Тебе бы, Шандор, разрядить
В хортиста автомат!
А ты, воспользовавшись тьмой,
Бежишь домой, спешишь домой...

Вот дверь твоя — запора нет,
В окне неровный лунный свет.
Стол перевернутый в углу.
А на полу... А на полу
Отец? Зачем он здесь, отец!
Зачем, когда, смилив свой нрав,
Мальчишка Шандор, наконец,
Навеки понял, как он прав!
А может, просто он уснул,
Усталый, старый человек?
Да, он уснул, но спит навек.
Стол перевернут, навзничь стул...
Кто, до луны, из темноты,

Что в этот час темней чернил,
Над ним расправу учинил?
Такие же щенки, как ты?
Отцеубийца!

Сам себе
Ты шепчешь.
И с окрестных крыш
Гремит, сбегая по трубе,
Из окон рвется:
— Шандор Киш
Отцеубийца!

Тих и бел,
Не вытирая слез с лица,
Он бился около отца,
И вдруг как будто онемел.

...Наш пароход несет река.
Молчит сосед.
Устал он, словно жил века,
А ходит по земле пока
Лишь двадцать лет.
Своим трудом в родном краю
Искупит он вину свою.
Но даже через тридцать лет,
В далекий год
В душе тяжелый черный след
Не зарастет.

МАРИКЕ

Здравствуй, Марика! Может быть, в жизни
не будет
Никогда уже больше ни писем, ни встреч.
Ты осталась, как все провожавшие люди,
Под мечетью старинною в городе Печ.

Твои косы в пучке над головкою милой,
Губы алы без краски, от крови живой.
На прощальном обеде сторонников мира
Два часа промолчали мы рядом с тобой.

Кто ты, Марика? Наш разговор не задался,
И сказать и спросить я о многом хочу!
Только как же нам быть? —
Ты молчишь по-мадьярски,
Я гляжу на тебя и по-русски молчу.

А глаза твои вдруг улыгнулись, согрелись,
Сразу людную комнату сделав светлей.
И такая особая девичья прелесть
В этой скромности строгих, сведенных бровей.

Кто ты, Марика? Где молодая веселость?
Почему мне навеки твой образ беречь?
Любят теплый, грудной, невысокий твой голос
Все, кто слушают радио в городе Печ.

Журналист или диктор — не знаю я даже;
— Сколько лет тебе?
— Двадцать один подошел.
— Комсомолка? Пускай переводчик подскажет.
— Да, конечно, — теперь у нас есть комсомол.

...Я встречал в Будапеште девчонок весенних,
Многоцветных, красивых, с бровями дугой.
Но когда говорят о твоём поколеньи,
Я тебя вспоминаю, дружок дорогой.

От улыбки твоей может ветер согреться...
Здравствуй, Марика, девочка в дальнем краю!
Я в тебе узнаю комсомольское сердце
И дарю тебе верную дружбу мою.

19 апреля 1957 г.
Печ — Будапешт.

*

* *

В разгаре хлебная уборка,
А урожай — как никогда.
Гласит недаром поговорка:
Берут навалом города.

Как в океане небывалом,
В загаре и пыли до лба,
Штурвальщица крутым увалом
Уходит на версты в хлеба.

Людей и при царе Горохе,
Когда владычествовал цеп,
Везде, всегда во все эпохи
К авралу звал поспевший хлеб.

Толпились в поле и соломе,
Тонули в гаме голоса.
Локобили экономий
Плевались дымом в небеса.

Без слов, без шуток, без ухмылок,
Батрачкам наперегонки,
Снопы к отверстиям молотилок
Подбрасывали батраки.

Всех вместе сталкивала спешка,
Но и в разгаре молотьбы
Мужчина оставался пешкой,
А женщина — рабой судьбы.

Теперь такая же горячка, —
Цена ее не такова,
И та, что встарь была батрачкой,
Себе и делу голова.

Не может скрыть сердечной тайны
Душа штурвальщицы такой.
Ее мечтанья стук комбайна
Выбалтывает за рекой.

И суть не в красноречье чисел,
А в том, что человек окреп.
Тот, кто от хлеба так зависел,
Стал сам царем своих судеб.

Везде, повсюду, в Брянске, в Канске
В степях, в копах, в домах, в умах,
Какой во всем простор гигантский!
Какая ширь! Какой размах!

НОЧЬ

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.

В пространствах беспредельных
Горят материи.

В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда!

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну —
Ты вечности заложник
У времени в плену!

МУЗЫКА

Рояль на лямках волоча,
Болтавшийся все своевольней,
Его несли два силача,
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.

И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа
На землю поглядел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,

Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет Валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.

1942 ГОД

Проснемся, уснем ли, — война, война.
Ночью ли, днем ли, — война, война.
Сжимает нам горлс, лишает сна,
Путает имена.

О чем ни подумай, — война, война.
Наш спутник угрюмый — она одна.
Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней,
Тем горше с ней.

Восходы, закаты, — все ты одна.
Какая тоска ты — война, война!
Мы знаем, что с нами
Победное знамя,
Но ты, как проклятье, — темным-темна.

Где павшие братья, — война, война!
В безвестных могилах...
Мы взыщем за милых,
Но крови святой неоплатна цена.

Как солнце багрово! Все ты одна.
Какое ты слово: война, война...
Как будто на слове
Ни пятнышка крови,
А свет все багровей во тьме окна.

Тебе говорит моя страна:
Мне трудно дышать, — говорит она, —
Но я распрямлюсь и на все времена
Тебя истреблю, война!

Александр ПОМОРСКИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЕСНЯ

Прославим
мы
Отечество,
Прекрасный
мир
творя,
Надежду человечества,
Величье Октября!
Прославим
дело
Ленина,
Советскую страну,
Бессмертное учение,
Народную весну.
Проснулись
страны дальние,
Открылся
мир
рабу.

Встают
колонизальные
Народы
на борьбу.
Им светят
звезды Ленина,
Грядущего
заря,
Планеты озарение —
Сиянье Октября.
Прославим
мы
Отечество,
Что с каждым днем
сильней,
Надежду
человечества —
Россию новых дней!

РУБАХА

Вот
И достроен новый дом,
Сверкает свежей облицовкой.
Теперь, конечно, в доме том
Мне не к лицу
Моя спецовка.

Она стара,
Она грязна,
Она мне просто не нужна.

С усталых плеч ее снимаю,
Тяну, довольный, за рукав.
И вдруг,
О чем-то вспоминая,
Я задержал ее в руках.

...Вот я войду в свои палаты,
Здесь будет сказкой жизнь моя!

А чем она-то
Виновата?
Ведь строил дом
Не только я.

Ведь и она в жару и стужу
Была бессменно на лесах.
Так нет ей места почему же
В шкафу, среди шелковых рубах?

Мне стало стыдно за себя,
Что так придумал я неловко,
Мне стало больно за тебя,
Моя рабочая спецовка!

Нет, мы работали вдвоем —
Вдвоем
Войдем
И в новый дом!

ОХАПКА СЕНА

Охалка сена —
и вся постель,
Да в изголовье
ночная ель.
Прямо под звездами,
черт возьми!
Хочешь — мечтай,
хочешь — усни.
Но сон не приходит.
Какой уж сон,
Когда аромат
со всех сторон,
Не подмосковный,
не смоляной —
Плывет аромат
травяной, степной!
И рядом
не озеро тихо спит —
Будто ночная
Волга шумит.
Дело не в том,
что постель в цветах:
Я сам
ароматом степей пропах!

Ароматом трав,
васильковых рос,
Среди которых
я в детстве рос.
Родные пенаты
отцов и дедов!
С гармошкой,
с посвистом на лугу.
Уж сорок лет
я от вас все еду
И уехать
никак не могу!..
Не сплю, не усну, —
уж какой тут сон!
Со всех сторон —
кузнечиков звон.
И жизнь моя вся
и все, что ей создано,
Сейчас предо мной,
под этими звездами.
А звезды ходят —
Венеры, Медведицы,
Все ходят по кругу
и никак не встретятся!

ПО ДОРОГЕ НА РАБОТУ

Дождь разлетелся в золотую пыль.
Гроза ворчит за темными лесами.
Девчонки пляшут в кузове кадрили,
Тряся намокшими льняными волосами.

Босые ноги по полу скользят.
— Ах, все равно! — Подол заткнув за пояс,
Они внезапной радостью горят,
О зрителях ничуть не беспокоясь.

Раздольно пляшет ситцевый народ,
Шофер восторженно дает сигналы,
И синеву парную небо льет,
И тучи над дорогой разогнало.

Р О Д И Н А

Деревья в инее, а снега вовсе нет.
Зима задумалась у столбовой дороги.
Радимов Павел я, художник и поэт,
Советский гражданин и человек нестрогий.

В Коломенском краю свой написал сонет,
Бродя вблизи Оки, где берега пологи,
Где протекла пора моих ребячьих лет,
Где ездил много раз, усевшись на дроги.

Я помню, помню вас, поемные луга!
Вот на реке паром, вот Ловцы, Белоомут,
Вот бричка ямщика и с кóлкольцем дуга,

Вот Горки на Яру и под горою омут.
Внизу ж стоят стога и зелени нет края.
Дай ширь твою вдохнуть, о сторона родная!

В НОВОМ ЗАБОЕ

Бывало, в шахте —
 в нише
 под забоем —
долбишь, как дятел,
 одинок и тих
и думаешь:
 «Какие ж
 мы герои?»
Мы ниже
 всех — и мертвых
 и живых!»
Давила тишь:
 без ветра
 и без света...
Сегодня у шахтера
 под рукой
течет на штреки транспортера
 лента
широкою
 спокойною
 рекой.
Ее исток: где, край
 пласта срезая,
ползет
 комбайн
 на угольный карниз,
где глыбы, под его напором тая,
как битый лед,
 шуршат, сползая
 вниз.
Комбайн клыкает,
 но пласт
 сдается
 туго:
он крошится,
 обвалами
 звения...
И вдоль по ленте льется
 хрупкий уголь
кристаллами
 в нем скрытого огня.
Его я
 от забоя
 отгребал
 когда-то,

клат в санки и тасил
 по каменной стерне...
Теперь, лишь ручку трону реостата,
он мчится вон
 из шахты по стране
потоками
 тепла, движенья, света,
гуденьем тока,
 яростью котлов...
— Скорей,
 скорей! —
 как будто шепчет лента, —
он нужен стройкам новых городов:
для выплавки высокосортовой стали,
для
 ферм и балок,
 люлек
 и брони...
Гони поток угля,
 чтоб мы сильнее стали,
опережали
 плановые дни.
Нет, не мечты тут
 сказочные крылья, —
я вижу — труд
 под блеском фонарей.
Вот
так
 струя
 втекает изобилья
всех благ земных
в фонд
 Родины
 моей.
Еще,
 еще
 стране тепла и света!..
Еще,
 еще
в счет
 завтрашнего дня!
Течет,
 течет
 потоком лавы
 лента
дорогой славы,
 счастья и огня.

*
* * *

Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулечной,
апрельской,
очень мокрой
бахромы.
Я уехал от ручьев,
от мальчишечьих боев,
от нахохлившихся почек
и нахальных воробьев,
от стрекота сорочьего,
от нервного брожения,
от головокружения
и прочего,
и прочего...

Отправляясь в дальний путь,
на другой конец страны,
думал:
«Ладно!
Как-нибудь
проживем
и без весны.
Мне-то, в общем,
все равно —
есть она
иль нет ее.
Самочувствие мое
будет неизменным...»

Но...
За семь тысяч верст,
в Тикси,
прямо среди бела дня
догнала
весна
меня
и сказала:
— Грязь меси!

Догнала, растеребя,
в будни ворвалась
и в сны.

Я уехал
от весны,
я уехал
от тебя...
Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
от твоих горячих рук,
от звонков твоих подруг,
от твоих горячих слез
самолет меня
унес.

Думал:
«Ладно!
Не впервой!
Покажу
характер свой.
Хоть на время
убегу...
Я ведь сильный,
Я — смогу...»

Я не мерил высоты.
Чуть видна земля была...
Но увидел вдруг:
вошла
в самолет летящий
ты!
В ботах,
в стареньком пальто...
И сказала:
— Знаешь, что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится...

А В Р А Л

Мы ящиков
не выбираем полегче...
Оттянуты руки.
Натружены
плечи.
Не гнутся,
но кажутся ватными
пальцы...
Упасть бы сейчас
и в снегу отоспаться!
На десять минут бы!
На десять!..
Но снова,
палаточный город
собой
сотрясая,
врывается слово,
взрывается слово:
«АВРАЛ!!!»
...Очень медленно
двигутся
сани.
Как будто стальные.
Как будто из камня.
Скрипя,
подаваясь почти незаметно,
то плавно,

а то вдруг толчками,
рывками,
еще на полметра.
Еще на полметра...
А снег под ногами
предательски порист...
И лезем мы,
на руки яростно дуя,
шатаясь,
проваливаясь по пояс,
по ровному полю,
как в гору крутую.
Холодное солнце
идет
небесами.
Глаза застилает.
Дышать уже нечем.
Оттянуты руки.
Натружены
плечи.
Но движутся сани...
Но движутся сани!
Мне долго еще будет сниться такое:
нежданно
приходит большая
работа...
Полундра! —
и мы поднимаемся с коек.
Аврал! —
и рубахи дымятся
от пота.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Четырнадцать часов полета,
и —
 Москва...
Молчи.
Не говори ненужные слова...

Аэродром.
Синеющий лесок.
Через него —
 шоссе наискосок.
Недвижна голубая крутизна...
Стоим,
оглушены,
удивлены,
деревьями и воздухом
 пьяны...
«Вот мы и возвратились,
старина!»
...И можно,
никого не удивив,
шоферу крикнуть:
— Эй!
 Останови!!
Быть наяву,
не выходя
 из сна,
упасть в траву,
услышать, как растет
 она,
глядеть вокруг.
По лугу медленно пройтись...
Ослепнуть вдруг
от грянувшего пенья птиц.
Нарвать ромашек.
Вымокнуть в росе.

И вновь смотреть,
 как косо
 падает
 шоссе,

Смеяться,
петь до хрипоты,
кричать!

...Как мог я раньше этого
не замечать?!
Как мог я думать,
будто понял
 жизнь?
То вверх,
 то вниз летит шоссе, —
держиись!
А мы молчим...
Шоссе — то вниз,
 то вверх.

Звенит оно.
Летит оно
 к Москве!
К Москве.
К тебе...

Закреть счастливые глаза,
И вдруг понять,
что через полчаса —
то,
 чем ты жив:
твой город,
 твой порог,
твоя судьба —
начало
 будущих дорог...

*
* *

Я не играл словами, помня
Всегда — и в непогоду, и в зной,
Что у меня деревня Ломня
Есть на Смоленщине лесной.

Там я взрастал в хлебах и травах
И всюду шел с друзьями в ряд.
Слов неправдивых, слов лукавых
Мне там вовеки не простят.

*
* *

Снегурочкой с околицы села
Ты в ночь под Новый год ко мне пришла
В наряде из парчи, что дед-мороз
Из сундуков зимы тебе принес.
И, вся светясь под сказочной луной,
С улыбкой ты склонилась надо мной.
Но не было в глазах твоих огня,
И сердце ровно билось у меня,
Хоть я и ждал, красой твоей пленен,
Чтоб вновь и вновь тот повторился сон.
Когда ж апрель сугробы растопил,
Исчезла ты, и я тебя забыл.

Чуть запестрели на лугах цветы,
Веснянкой стала мне являться ты.
Мне снился взгляд, синей, чем небеса,
И русая до пояса коса.
По вечерам, когда заря тепла,
Ты песней за село меня звала,

Но превращалась в поле на ветру
То в белую березку, то в ветлу.
Я слышал голос твой, но никогда
Не мог найти я твоего следа.
И, лишь июнь в права вступил,
Исчезла ты, и я тебя забыл.

Я в летний полдень, зноем налитой,
Тебя увидел девушкой простой.
В тот день, его я в сердце берегу,
Ты ворошила сено на лугу.
Шла меж валов духмяных босиком,
Повязанная ситцевым платком.
Казалось, даже ветерок притих,
Едва коснувшись жарких щек твоих;
Примолкли разомлевшие кусты,
Но ты все шла, ко мне спешила ты
В сознание красоты своей и сил.
Такую я тебя и полюбил.

ИЗ ПОЭМЫ «БЛИЖНИЕ СТРАНЫ»

К ночи, где-то в районе Опочно
Нарвались головные заставы
На засаду, засевшую прочно
Возле мостика у переправы.
Бой был краткий, почти что мгновенный,
Нам достался один только пленный.

Что возьмете с солдата пехотного?
Номер части, фамилию ротного.
У него ведь совета не спрашивали,
Когда планы кампаний вынашивали.

Что он знает? Ни много, ни мало:
Что война его жизнь поломала,
Что схватила его, закрутила,
Обещала и не заплатила.

Что он хочет? Он хочет покоя.
Да, покоя от жизни такой.

Он не верует в счастье людское.
Пусть хоть смерть, но покой и покой!

Что он понял? Во всем виноваты
Те, кто головы им задурманили.
А еще виноваты солдаты —
Он и прочие люди Германии.
Он не ждет для себя снисхождения,
Пусть поступят, как нужным найдут.
Он готов за свои заблуждения
Быть расстрелянным (аллес капут!).

Он сидел, опустив свою голову,
Ждал решенья (гезагт унд гетан!).
И тогда я сказал Богомолу:
— Что с ним делать, решай, капитан!
Нет людей конвоировать пленного,
Да и много ли скажет он ценного?

Жизнь солдатская стоит не много.
Молвят слово — пойдешь под прицел.
В роли грозного господа бога
Перед немцем сидел офицер.
И сказал капитан Богомолу:
— Дьявол с ним. Пусть живет этот олух!
Хоть вопрос для него и неясен,
Кто мы есть и на чем мы стоим,
Но для нас он уже не опасен.
Пусть идет восвояси, к своим!

Утро. Пленный идет через поле,
Рад, а может, не рад своей воле?..
Капитан Богомолу! Недаром
Ты почти что полгода комбат.
Ты имеешь четыре раненья,
Две контузии, пару наград.
И такое особое право
Жизнь дарить и на смерть посылать,
Что сумел бы по этому делу
Даже бога порой замещать.

ИСКУССТВО

Венера! Здравствуй! Сквозь разлуки,
Сквозь лабиринты старины
Ты мне протягиваешь руки,
Что лишь художнику видны.

Вот локоть, палец, тонкий ноготь,
Совсем такой, как наяву...
Несуществующее трогать
Я всех товарищей зову.

Сквозь отрочество, сквозь разлуки,
Сквозь разъяренный динамит
Мечта протягивает руки
И пальчиками шевелит.

Манит: «Иди ко мне поближе!
Ты не раскаешься, родной.
Тебя с собой я рядом вижу
На фотографии одной —

На красном фоне канонады,
На черном — прожитых ночей,
И на зеленом фоне сада
В огне оранжевых лучей.

Давай с тобою вместе будем!
Сквозь кутерьму идущих лет
Давай с тобой докажем людям,
Что есть мечта и есть поэт».

ПАМЯТИ ДРУГА

Владимиру Луговскому

Он умирал и, навзничь лежа,
Шептал беззвучно: «Жить
хочу»...

Был утренник других моложе,
И ветер задувал свечу.

Корона дальнего Ай-Петри
Светилась на пути дневном.
Он умирал при полном ветре,
При полном море за окном.

Жена, откинув занавески,
Смотрела в море. Ей в глаза

Вливался юг в цвету и блеске,
В камнях ломалась бирюза.

Он умирал. А было время —
Невозвратимые года:
Горела на потертом шлеме
Пятиконечная звезда.

О юность, время боевое!
Чонгарский мост... В огне Джанкой...
Он просто дремлет после боя
Над недописанной строкой.

Владимир СЕМЕНОВ

КОЛОСЬЯ

Все шире утреннее небо,
Все необъятнее земля...
Колосья зреющего хлеба
Шумят,
Усами шевеля.

Они слегка сутуловаты,
Видать, утомлены чуть-чуть.
Они,
Как старые солдаты,
Прошли большой и трудный путь.

Был день.
Они,
Как новобранцы,
В дорогу вышли без ленцы.
Несли
Совсем пустые ранцы
Они,
Зеленые юнцы.

Но, ввысь карабкаясь упорно,
Они окрепли,
Подросли
И тяжелеющие зерна,

Сутулясь,
В ранцах понесли.

Они от зноя стали рыжи,
Но каждый —
Крепок,
Длинноус.
Они сгибаются
Все ниже,
Неся живой,
Подросший груз.
В их ранцы грузные
В июле
Набиты зерна,
Словно пули.

Знать,
Нелегко под знойным небом
Шагать им
По родной земле,
Чтоб стать однажды
Мирным хлебом,
Лежащим на твоём столе.

ВЕСНА

Всюду — леса вековые
до поднебесья видны.
Звери, цветы полевые
встали под знамя весны.

Мира зеленые роты
вышли в весенний поход.
Маленький маршал природы—
мальчик по лужам идет.

Аркадий СИТКОВСКИЙ

ПОДГОТОВКА

Они поднимались в гору,
И ветер трубил,
Хлестал.
Трудно в такую пору
Подняться
на перевал.
От солнца и ветра
Кожа
Уже превратилась в медь.
Заденешь неосторожно,
Пожалуй, начнет звенеть.
У самой вершины —
Льдины,
И надо рубаться в лед.
И вспомнился тот былинный
Суворовский переход.
Внизу, через день, возможно,
Цветущих садов не счесть,
А здесь уже есть
Обмороженные,
Не много, но все же есть.
Но разве найдется сила, —
О том говорю
Без прикрас, —
Которая б отменила
Данный полку приказ?

*

* *

У офицеров было много планов,
Но в дымных и холодных блиндажах
Мы говорили не о самом главном,
Мечтали о деталях, мелочах, —
Нет, не о том, за что сгорают танки
И движутся вперед, пока сгорят,
И не о том, о чем молчат в атаке, —
О том, о чем за водкой говорят!

Нам было мило, весело и странно,
Следя коптилки трепетную тень,
Вообразать все люстры ресторана
Московского!

В тот первый мира день
Все были живы. Все здоровы были.

Все было так, как следовало быть,
И даже тот, которого убили,
Пришел сюда,
чтоб с нами водку пить.

Официант нес пиво и жаркое
И все, что мы в грядущем захотим,
А музыка играла —

что такое?

О том, как мы в блиндажике сидим,
Как бьет в накат свинцовый дождик частый,
Как рядом ходит оружейный гром,
А мы сидим и говорим о счастье.

О счастье в мелочах. Не в основном.

Михаил СКУРАТОВ

ТУРГЕНЬ

Река Тургень, река Тургень, —
Туву родная дочь,
Ты день и ночь, ты ночь и день
С гор убегаешь прочь!

Не замерзаешь и зимой,
Журчишь, звенишь: дзень-дзень!
Вся извиваешься змеей
Вдоль юрт и деревень.

Нерусский звонкий звук — Тургень,
Ты — корень русских слов;
Тургенев?.. — и мелькнешь, что тень,
Как отблеск дальних снов.

Куда спешишь, Тургень, Тургень?
Глянь, на пути колхоз.
Накинем на тебя ремень,
Дочь горных льдов и гроз.

Крути, крути нам жернова,
Турбины нам крути.
Ты — говорлива, ты — жива,
А краше — не найти!

Подружкой станешь нам,
Тургень, —
Туву родная дочь.
Свой буйный нрав в узду одень,
С гор убегая прочь!

СПУТНИК ОГРОМНОЙ ЗЕМЛИ

Мы утром, пока еще смутно,
Увидеть сегодня могли,
Как движется маленький спутник —
Товарищ огромной Земли.
Хоть он и действительно малый,
Но нашею жизнью живет,
Он нам посылает сигналы,
И их принимает народ.

Эпоха свершений и странствий,
Ты стала сильнее с тех пор,
Когда в межпланетном пространстве
Душевный пошел разговор.
Победа советского строя.
Путь в дальнее небо открыт.
Об этом звезда со звездой
По-русски сейчас говорит.

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Как золотящаяся тучка,
Какую сроду не поймать,
Мне утром первая посылка
Сегодня вспомнилась опять.

Опять настойчиво и плавно
Стучат машины за стеной,
А я, фабзавучник недавний,
Стою у кассы заводской.

И мне из тесного оконца
За честный и нелегкий труд
Еще те первые червонцы
С улыбкой дружеской дают.

Мне это вроде бы обычно,
И я, поставив росчерк свой,
С лицом насильно безразличным,
Ликуя, их несую домой.

С тех пор не раз, — уж так
случилось,
Тут вроде нечего скрывать, —
Мне в разных кассах приходилось
За песни деньги получать.

Я их писал не то чтоб кровью,
Но все же времени черты
Изображал без суесловья
И без дешевой суеты.

Так почему же нету снова
В день гонорара моего
Не только счастья заводского,
Но и достоинства того?

Как будто занят пустяками,
Средь дел суровых и больших,
И вроде стыдно жить стихами,
И жить уже нельзя без них.

БЕСПОКОЙСТВО

Моя привязанность не тает,
Она в душе,
 в словах письма.
«Цыплят по осени считают»,
А на дворе уже зима.

Я много лет следил за вами,
Мой подопечный,
 скромный друг.
Вы даже зависть вызывали
У всех толпившихся вокруг.

Закрылись двери института.
В руках путевка и диплом.

И вы уехали как будто
На юг, пронизанный теплом.

Бежит успех за молодыми.
Талант шлифуется в труде,
Но почему же
 ваше имя
Не появляется нигде?

Куда с такой тревогой денусь?
Чем заглушу свое «увы»?..
Я больше всех на вас надеюсь.
Я верю!..
 Слышите ли вы?

ДО СИХ ПОР

Люблю не просто, а по делу
Собаться,
 выправить билет,
И мчаться к дальнему пределу,
Как будто юности вослед.

Опять короткие стоянки,
Лесов карельская тоска.
Почти на каждом полустанке
В буфетах — клюква да треска.

На елках — ватники из снега.
На соснах — россыпи слюды.

А у столбов, где заяц бегал,
Его узорные следы.

И вновь безвестные селенья.
Снега нетронуты чисты.
И над рекой — рога олени,
Не то ветвистые кусты.

И встречный поезд на разъезде,
И новостей — хоть пруд пруди,
И вдалеке огни созвездий,
И все, что хочешь, впереди!

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Век — двадцатый,
Год — пятидесятый.

Тихий час. Пустыня бездыханна.
Небосвод прозрачен и высок.
Из-за близлежащего бархана
Вышло солнце и зажгло песок.

И, конечно, с долей удивленья
Посмотрело солнце сверху вниз;
Там стоял
готовый к отправленью
Караван из вездеходов «ЗИС».

Посреди соратников ученых
Встал начальник и сказал тогда:
— Я в далекий путь
беру бочонок,
В нем аму-дарьинская вода.

И добавил громогласным басом,
Аж помчалось эхо по рядам:
— Этого особого запаса
Никому расходовать не дам!

Сел в кабину, около шофера,
Вытер пот, блестевший у виска.
И пошли машины прямо в гору,
Прямо в море мертвого песка.

Двигались, пустыню будоража,
А воды не видели нигде,
Лишь вдали маячили миражи,
Вроде вечной грусти о воде,

Лишь песок струился,
сплошь да рядом
Под колеса медленно ползя,
И его — ни пулей, ни снарядом
Задержать и пригвоздить нельзя.

Он летел в лицо колючим роем,
А начальник пламенно басил:
— Здесь мы гидростанцию построим! —
И кружок на карту наносил.

— Тут плотина встанет над песками! —
Говорил другой специалист.
А глаза внимательно искали
Хоть былинку,
Хоть зеленый лист,

Но, увы,
их не было в помине.
Тут царил, горяч и бестолков,
Суховой — недобрый сын пустыни —
В должности
погонщика песков...

И мелькал песчаный первопуток,
Весь в седом приземистом дыму.
Караван пятнадцать длинных суток
Шел на вездеходах по нему.

А когда раздался шум прибоя,
Засучил начальник рукава.
Поднял он
бочонок над собою
И сказал веселые слова:

— Здравствуй, Каспий, старый старичина!
Вот тебе — от армии труда.
Из бочонка
хлынула в пучину
Та аму-дарьинская вода.

Хлынула, сверкая и синяя,
Сереброподобная струя.
И понятно было,
что за нею
Двигается река Аму-Дарья.

Вот она
размашисто и веско
Пролилась на головы камней.
Вот уже
глаза слепит от блеска, —
Это солнце
Отразилось в ней!

У ЗАСТАВЫ ИЛЬИЧА

У заставы его имени
Я воспитывался и рос.
Заводские огни меня
Приводили к цехам на откос.

Подходил тогда к мартенам я,
К серпомолотовским печам.
В них, вскипая, металась пенная
Сталь по огненным кирпичам.

Я не в силах был от пламени
Глаз ребяческих отвести;
До костей тогда прожгла меня
Печь на отроческом пути.

И поздней, где бы ни был в пути я,
По стране, по земле колеся,
Мне светили огни заводские
И застава светила вся.

Ирина СНЕГОВА

ЧЕГО ПОЖЕЛАТЬ ТЕБЕ?

Смотри, с какой юной, веселой силой
Сыплется светлый душистый снег...
Чего пожелать тебе, самый милый,
Самый нужный мне человек?

Неба в алмазах, горного ветра,
Огненных зорь над свинцом морским?
Чего пожелать тебе, самый щедрый,
Жизнь положивший к ногам моим?

С легкой душой, как бывало, мерить
Версты лыжнею в лесном краю,
И, может... чуточку больше верить,
Верить — ты слышишь — в любовь мою?

Кружится снег над двором, над домом,
Пухом лежит на ограде — резьбе...

Земляк мой, сосед мой, друг незнакомый,
Чего в эту ночь пожелать тебе?

Славы, удачи, согласи в доме,
Силы для будних нелегких дней?
Денег, покоя? А кроме, кроме?..
Крыльев могучих мечте твоей!

Праздничных красок, праздничной страсти,
Праздничной радости в час труда,
Веры, безудержной веры в счастье,
В новые будущие года!

Верь, если даже твой год был труден,
Если немислимым день бывал...
Счастья вам, счастья вам, счастья, люди,
Незаходящего счастья вам!

СОСЕД

Тебя не мучает, что рядом
Живет веселый человек?
Живет несложным он укладом,
Ему не шлют газеты на дом,
Он их читает по фасадам,
Со строчек смахивая снег.

Он поднимается до света.
Соседка на него ворчит.
Он поднимается до света
И шумно моется при этом
И сапогами по паркетам,
Как ни старается, стучит.

Он любит ранний путь к заводу,
Где все от инея бело.
Когда передают погоду,
Он говорит: «Люблю природу»,
А там опять — мороз к восходу
И только к полудню — тепло.

Он все над книгой клонит плечи,
Он говорит, что ночи нет,
Что до двенадцати есть вечер,
А после новый день намечен
И должен быть толково встречен,
И он до двух не гасит свет.

Тебе не завидно, что ранью
Встает он, медлить не любя?
Не завидно, что синей ранью,
Когда ты все за сонной гранью, —
Хоть для него — похолоданье,
А потепленье — для тебя?

З Е М Л Я К И

В потоке солнечного света,
Голубоватая на цвет,
Летит обжитая планета
Среди безжизненных планет.
Летит, свершая путь урочный,
Не год, не век, не вечный срок,
Летит, опутанная прочно
Сплетеньем тропок и дорог.
Лесные, горные, степные,
Они повсюду пролегли,
И ходят жители земные
По трактам матушки-земли.
Земля на всех одна, и все же
За двадцать верст уйдешь пешком
И назовут тебя прохожим,
Не называя земляком.
Но если ты пойдешь далече,
За край владимирских полей,
Туда, где очень тонки свечи
Пирамидальных тополей,
Или туда, где просто груды
Как угли жаркого песка, —
Хоть очень дальнего, но всюду
Себе найдешь ты земляка.
Ведь доводилось в Казахстане,
В его степях мне слышать, как
Кричал парнишка из Рязани:
— Эй ты, владимирский, земляк!

А далеко, за морем синим,
В краю иных материков,
Встречал я жителей России,
Как самых близких земляков.
И слышать там совсем не странно,
Когда сойдутся моряки:
— Так, значит, ты из Казахстана!
— Та я ж с Полтавы, земляки!..

Но завтра звонкий звон ракеты
Уйдет в серебряный туман,
И ты, как гость чужой планеты,
Сойдешь на почву марсиан,
И вспомнишь все: земное небо,
Душистый мед, и горький дым,
И вкус и цвет земного хлеба,
И цвет и звон земной воды,
И путь, что был тобой исхожен,
И то, что в россыпях росы
Ты проходил не как прохожий,
А как земли родимый сын.
Тогда старайся, не старайся —
Сверкнут слезой глаза твои,
«Мол, где вы немцы и малайцы,
Земные родичи мои!»

Стой, подожди! Одна на свете
Земля, одетая в траву.
Но вспомни, все ль земные дети
Друг друга братьями зовут?

Брататься могут и солдаты,
Все это так, все это так,
Но, помнишь, фюрер бесноватый
Неужто был тебе земляк?!

И ты неужто с сердцем чистым
Воскликнешь в марсианской мгле:
«Мол, где вы, где, капиталисты,
Родные братья по земле!»

Нет, помни всех, что цепи рабства
Тебе всечасно берегли,
И отрекись от их собратства
Во имя Родины — Земли!

*
* * *

В лесу еловом все не броско,
Приглушены его тона.
И вдруг белым-бела березка
В угрюмом ельнике — одна.

Известно: смерть на людях проще,
И видел сам я час назад,
Как начинался в дальней роще
Веселый, дружный листопад.

А здесь она роняет листья
Вдали от близких и подруг.
Как от огня, в чащобе мгlistой
Светло на сто шагов вокруг.

И непонятно темным елям,
Собравшимся еще тесней,
Что с ней? Ведь вместе зеленели
Совсем недавно. Что же с ней?

И вот задумчивы, серьезны,
Как бы потупив в землю взгляд,
Над умирающей березой
Они в молчании стоят.

КОЛОКОЛЬЧИК

В Концертном доме Стокгольма
советская певица Ирина Масленникова
исполнила песню «Однозвучно гремит
колокольчик...»

В этом городе чинном Стокгольме,
В этом шумном чужом далеке,
«Однозвучно гремит колокольчик»,
Да на русском еще языке.

Будто видятся дали степные,
Льется песни душевный напев...
И сидим мы, навеки родные,
Словно дети сидим, присмирив.

...«Однозвучно гремит колокольчик» —
И как будто в степи тишина...
Ах ты, родина наша, Россия,
Сердцу милая ты сторона!

Ты греми, колокольчик печальный,
В путь-дорогу большую зови;
Где бы ни были в плаванье дальнем, —
Мы твои, колокольчик, твои!

*Стокгольм.
1953 г.*

Василий СУББОТИН

К Р Ы Л Ь Я

Низина, открытая глазу.
На кручу парнишку взнесло.
Пропеллер завит до отказа —
И время летит под крыло.

Предельно закручен пропеллер.
Повеяло давним в лицо...
Я тоже ведь с первой моделью
Вот так выбегал на крыльцо.

Плывут облака вереницей,
И тянет все в сторону ту —
Умелую сильную птицу
С обрыва пустить в высоту.

*

* *

Буду глиной...
Но только на что мне она,
эта глупая глина?
Буду свежей травой...
Только что она мне,
безъязыкая эта трава?
Я привык в этой жизни
не тюльпаном расти посредине долины —
на плечах моих зыбких
качается, кроме того,
голова.
А друзья всё уходят,
оставляя живущим на добрую память
кто — волшебные звуки,
кто — крылатые зданья,
кто — томик стихов голубой...
О земля,
вся в нежнейших сверкающих
ландышах белых,
вся в репейниках бурых
с шипами —
что мне сделать такое,
чтоб вовек не расстаться с тобой?..

*

* *

Зловещим заревом объятый,
грохочет дымный небосвод.
Мои товарищи-солдаты
идут вперед
за взводом взвод.

Идут, подтянуты и строги,
идут, скупые на слова.
А по обочинам дороги
звенит трава,
шумит листва.

И от ромашек-тонконожек
мы оторвать не в силах глаз.
Для нас,
для нас они, быть может,
цветут сейчас
в последний раз.

И вдруг, неведомо откуда
попав сюда, зачем и как,

в грязи дорожной — просто
чудо! —
пятак.

Из желтоватого металла,
он, как сазанья чешуя,
горит,
и только обметало
зеленой окисью края.

А вот — рубли в траве примятой,
но здесь никто их не берет...
Мои товарищи-солдаты
за взводом взвод
идут вперед.

Все жарче вспышки полыхают.
Все тяжелее пушки бьют...
Здесь ничего не покупают
и ничего не продают.

Идут слесаря,
 капитаны,
 ткачи,
 инженеры,
Идут пограничники,
 рыбмастера,
 маляры.
И на пьедестале,
 в середине веселого сквера,
На восток обращенная
 пушка
 молчит до поры.

Напрасно
 пытались хозяйничать в крае
 незванные гости,
Крестом или свастикой
 метя литовский простор, —
Вновь ветер свободный
 пустые баронские кости
На свежую воду
 выводит из дюн
 до сих пор.
И что еще скажешь
 об этом каштановом крае?
Невесту свою
 не один здесь моряк отыскал...
В Клайпéде иль Клайпéде
 музыка в парке играет,
Танцуют матросы,
 чья вахта еще не близка...
Мы в море уходим,
 сердца же
 оставлены наши
В Клайпéде
 иль Клайпéде —
 разве не все нам равно?!

Моря-океаны
вскипают алýсом * крепчайшим,
И дайна ** любимой
 повсюду пьянит, как вино,
И ветры всех румбов,
 надежную снасть выгибая,
Поют неизменно
 с литовским акцентом на «с»...
В широтах чужих мы проходим,
 добром поминая,
Клайпéду
 иль Клайпéду —
 город матросских невест.

* Пиво (литовск.).
** Песня (литовск.).

*

* *

Ты думаешь, это не страшно было —
Решить, что бога на свете нет,
Что в нашей вселенной иная сила
Заведует ходом звезд и планет.

А это не просто — ночью проснуться
И, видя паденье звезд с высоты,
Познать бесконечность и не ужаснуться
Тому, что в мире пылинка ты.

Не просто — познать беспощадно ясно,
Что смерть придет — и судьба твоя
И все, что в мире было прекрасно,
Угаснет с твоим беспокойным Я,

Что можно прожить без аллаха и спаса,
Без райских приманок и адских мук
И, страх пересилив, до смертного часа
Не выпустить душу из собственных рук.

Слова человеческой песни слыша,
Почувствуешь, зову природы в ответ,
Что люди — хозяева мира и выше
Идеи и силы на свете нет.

*

* *

И кажется мне иногда,
Что живу я на свете четыреста лет,
Что четыреста раз в ноябре замерзала вода,
Что четыреста раз опадал с наших вишен цвет.

И вспомнится мне иногда,
Что промчалась вся жизнь от войны к войне,
Что с детства, как тень, по пятам ходила Беда
И Надежда светила в потемках безвременья мне.

И кажется мне иногда,
Что четыреста бездн пустотой обрывались у ног
И сквозь заросли лет не прорвался бы я никогда,
Если б жизни не верил и был на земле одинок.

Снова снег белым пухом засыпал сухую траву.
Снова воду покрыла стеклянная корочка льда.
Что бы там ни случилось, до главного дня
доживу, —
Вот что кажется мне иногда.

*

* *

Я дверь распахну, пойду на крыльцо,
И молодость ветром овеет лицо.

Я вижу ее среди беспорядка
Идущих не в ногу маршевых рот.
Упрямо бьет по бедру лопатка,
До крови шею натерла скатка,
Плечо натрудил ручной пулемет.

Я помню, как спуск нажимал впервые,
Как черная кровь обожгла висок,
Как вили пыль кнуты огневые,
Как люди, теплые и живые,
Валились трупами на песок.

Я помню, как писарь наш осторожно
Считал потери, число к числу,
Как ливнем стали хлестали ножны,
Как было нашим сердцам невозможно
Привыкнуть к этому ремеслу.

И как мы все-таки привыкали
Стрелять, рубить и носить рубцы.
И радость больше была едва ли,
Когда нас впервые в разведку звали
Всей ротой признанные храбрецы.

Дыханье юности нашей знойно.
Ей Ленин подал команду «В ружье»!
Вернись она вновь, позови беспокойно,
Я тысячу раз повторю ее.

ДЕРЕВНЯ ЛУЖКИ

Мне родны твои зори — пригорки, вздремнувшие тихо,
И скворечни твои, и цветок, что глядит пустяком.
Мне родны твои деды, хлебнувшие всякого лиха,
Мне родны твои бабки у старых и смутных икон.
Мне родны твои вдовы, веками не спавшие вдоволь,
И девчонок твоих целомудренный, строгий устав,
Хоть глаза озорны и глядят горячо и бедово,
Хоть слова озорны на медовых и легких устах.

Умиление? — Нет. Любование? — Что ж! Это наше,
Это родина, Русь. Нам любовь не на срок занимать.
Часто мать мы зовем по-домашнему просто — мамаша,
Но Россию всегда называем единственно — мать.
Матерей не находят, не ищут по странам заморским,
Не берут, как невесту, по вкусу, по выбору в дом.
Матерей узнают по морщинам да пальцам замерзлым,
Закорузлым и ласковым, нас одевавшим с трудом.

Я не праздный турист. Есть большой и неприбранный город,
Корпуса, факультет, диссертации, споры, статьи.
Там надежды мои. Там ребята у дерзких приборов.
Неудачи, удачи. Рабочие годы мои.
На любимой земле я стою беспокойно и гордо —
Вся до боли моя. Мне ее не в альбоме хранить.
И пускай от прибора до робкого в кашке пригорка,
Неприметная в травах, бежит путеводная нить.

Я иду, я иду. Просто так — не поэт, не художник.
Проводи меня тишь — предутренней тишь овей.
Ноги росами встретить. А лицо я подставлю под дождик —
Редкий-редкий и добрый, как письма твоих сыновей.
Там, за далью озер, за семью заливными лугами —
Я пройду их насквозь — там, в просторном и спелом лесу
Я к земле припаду, я найду свое слово губами,
И дыханьем прочту, и его на губах унесу.

Эти стихотворения, написанные в первые годы Октября, никогда нигде не печатались. Я читал их, как и многие другие, на вечерах, собраниях, на митингах.

Часть из них была собрана в книге, которая осталась в рукописи. Я назвал эту книгу «Перекресток утопий». В пафосе, характерном для многих стихов той поры, мне казалось, что все, что было утопией, мечтой великих провозвестников будущего, начиная с Кампанеллы с его Городом солнца, начинает сбываться, что в будущем мы увидим воплощение всех утопических надежд. Но это не приходит само. Только путь самой жестокой борьбы может привести к все-

народной победе. Невольно стихи того времени были отвлеченными, слово «мы» писалось с большой буквы, переполнение стихов высокими словами было обычным.

Может быть, сегодня, когда прошло около сорока лет с того времени, как писались эти стихи, они представляют особый интерес, как поэтические документы, как написанные в первые годы Октября и сохраняющие свое необычное выражение.

Они прямолинейны и наивны, но их направленность не вызывает сомнений. Это отклик на события великого времени, характерный для настроения юношеской поры.

27 ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА

Ошибся враг, бесстыдством ловкий,
Преображенным этим днем
Не вспыхнут темные винтовки
Братоубийственным огнем.

Все то, о чем мы лишь мечтали,
Чем жили долгие года,
Вдруг станет близким, как вначале,
И победившим навсегда.

Запомни ныне день и год,
И вырежь даты в славной тверди.
Мы купим радости свобод
Хотя бы собственную смертью,

Чтоб через долгие века
Запечатлелось неуклонно:
В тот день народная рука
Разбила царскую корону

О камни темной мостовой,
О стены тюрем и подвалов,
Как бьет прибой береговой
Скорлупы раковин о скалы!...

1917

КУПЕЛЬНАЯ ОДА

Паровозы, сбежавшие с ума,
Разбитые в тупиках;
Тюрьма,
Как сломанная рука,
Грозящая в небо;
Юбки женщин, порванные
На знамена
И бинты;
Города, деревни,
Мосты,
Сурово кричащие слово древних,
Вечно новое слово:
Хлеба!
Разбитые короны,
Идущие на слом;
Война, ставшая ремеслом,
Убивающим законы, —
Это ты,
Солнце всех небосклонов —
Революция!

Когда какой-нибудь
Верacruz и я,
Рим
И село Горбатое
Имеют одну судьбу,

Одним
Кулаком сжаты, —
Тогда встает один,
Другой, третий —
Женщины, старики, дети.
И поэт впереди,
Хотя мало мяса в поэте,
Но и он, я верю, годится
Как удобрение
Полей времен.

И в обломках крушенья,
Где слиты сон,
Грязь, колеса, кровь,
Мозг машин и голов,
Лохмотья парчи
И боль кричит:
— Смерть, возьми!
Лежит он —
Новый мир
В пеленках
Грядущего —
Сильного, розового ребенка
Единокого, сущего,
Силой своего ремесла
Лирной и трубной,
Неподкупный
Поэт, славы!
1917

ИЗ ПЕСЕН СВОБОДЫ

Ты, кровью святой обгаренный,
Наш молот борьбы и труда,
Народы, несите короны,
Мы их разобьем навсегда.
Пускай не алмазы сверкают
На важных, пустых головах,
Пускай разольется по краю
Свет истин, сражающих мрак.

Кто раз поклонился тирану,
Тот будет надолго рабом,
Свободы великие страны
Велики свободным трудом.
Над нами безумцы сидели,
А ими владело ничто,
Мы слишком их долго терпели
И слишком платились за то.

Что было, сгорело в боренье,
Но яд не сгорает в крови.
Народы в грядущих движениях
Следите ошибки свои...
А те, что ценились богато,
Все знаки позорных наград
Сегодня в минуты расплаты
Народу пускай возвратят.

Мы вышли из дебрей тумана
И новой дорогой идем,
Быть может, до волн океана
Мы знамя свобод донесем.
Быть может, в окоп из окопа
Пройдет огневая волна,
И черные троны Европы
Падут, как видения сна.

И, сбросив одежды печали,
Воскликнут в восставшей стране:
— Как долго мы, мертвые, спали,
Как страшно мы жили во сне!
Закроются жгучие раны,
Растворятся двери гробов,
Не будет на тронах тиранов,
Не будет у тронов рабов.

И красное знамя покроет
Наш молот сердец огневых,
Ковавший бессмертным героям
Оружье сражений святых.
И в бури печей раскаленных
Послушно ложится руда...
Народы! Несите короны,
Мы их разобьем навсегда!

1917

О РОССИИ

Не плачьте о мертвой России,
Живая Россия встает,
Ее не увидят слепые,
И жалкий ее не поймет.

О ней горевали иначе,
Была ли та горесть чиста?
Она возродится не в плаче,
Не в сладостной ласке кнута.

Не к морю пойдет за варягом,
Не к княжьей броне припадет,
По нивам, лесам и оврагам
Весенняя сила пройдет.

Не будет пропита в кружале,
Как прежде, святая душа

Под песни, что цепи слагали
На белых камнях Иртыша.

От Каспия к Мурману строго
Поднимется вешний народ,
Не скованный именем бога,
Не схваченный ложью тенет.

Умрет горевая Россия
Под камнем — седым горюном,
Где каркали вороны злые
О хищниках, пире ночном.

Мы радости снова добудем,
Как пчелы — меды по весне,
Поверим и солнцу, и людям,
И песням, рожденным в огне.

1918

Арсений ТАРКОВСКИЙ

*

* *

Чем больше лет ложится мне на плечи,
Тем очевидней светлый мой удел:
Я гражданин державы русской речи
И русской музе я в глаза глядел.

Такая сила есть в моем народе,
Что лег я нищим и поэтом встал.
И счастлив тем, что я не в переводе,
А в подлиннике Ленина читал.

*

* *

Пусть мне оправдываться нечем,
Пусть спорны доводы мои:
Предпочитаю красноречью
Косноязычие любви.
Когда волненью воплотиться
в звучанье речи не дано,
когда сто слов в душе родится
и не годится
ни одно.
Когда молчание — не робость,
Но ощущение того,

Какая отделяет пропасть
Слова от сердца твоего!
О сердце, склонное к порывам,
Пусть будет мужеством твоим —
В поступках быть красноречивым
И в обожании — немым.
И что бы мне ни возразили,
Я снова это повторю...

...Прости меня, моя Россия,
Что о любви не говорю.

О ЦВЕТАХ

Нет на свете подарка
милей и нежней,
нет на свете подарка
для счастья нужней.
Ты не сетуй,
что жизнь у цветка коротка, —
поселяется в сердце
дыханье цветка.
И с тобой остается
в печали любой,
и в положенный час
умирает с тобой.
...Вот ночная фиалка,
невзрачна, бледна...
Ты когда-нибудь слышал,
как пахнет она?
Это — юность моя,
это — счастье мое...
Школьный друг
подарил мне впервые ее.

Протянул,
и впервые взглянул мне в глаза,
в мокром майском лесу,
где шумела гроза.
...А с тобой мы шагали
в полдненную синь.
Ты сорвал для меня
голубую полынь.
Ты сорвал ее
между обветренных скал,
ты другого цветка
для меня не искал.
И была та полынь
горяча и горька...
Это — счастье мое
и любовь, и тоска!
Ты не думай,
что жизнь у цветка коротка:
нет даров у земли
долговечней цветка!

БУРЛИТ

Ведет шоссе прямое
Туда,
Где сторожит Приморье
Звезда.

Покрыта мохом тощим
Земля.
А под землю толщи
Угля.

Не там ли с самой ранней
Поры
Сошлись, как на собранье,
Копры?

Заговорили сверла
Вокруг:
Работы здесь по горло,
Мой друг.

А ну, коль есть охота, —
Ударь.
Пробейся сквозь болото
Да марь.

И, ощущая удаль
В груди,
Настойчив будь и уголь
Найди!

Сиреневые сопки...
Простор...
Из тучки как бы соткан
Узор.

И в кочевом тумане
Лежит
Поселок под названьем
Бурлит.

Там с каждым днем бурлило
Сильней.
Все это в жизни было
Твоей.

То там тебя мы слышим,
То тут...
Чем глубже ты, тем выше
Твой труд!

Приморье. Поселок Бурлит

Борис ФИЛИППОВ

ЮЖНЫЙ ВЕЧЕР

Весь влажный.
В море отраженный.
Безоблачный, с высоким лбом.
Звездой падучей награжденный,
Живой в дрожанье голубом,
Как будто он лишь только создан
И молоко не снял с губы.
И хочется идти по звезды,
Как в лес с лукошком по грибы.

Я ВСЕМ СЕРДЦЕМ ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД

(Песня из кинофильма «Дом, в котором я живу»)

Спят цветы под зелеными кленами,
даже звезды за облачком спят.
Лишь одни чудачки да влюбленные
в нашем городе спать не хотят.

Тишина за фабричной заставою.
Спят березы у сонной реки.
Лишь составы идут за составами
да кого-то скликают гудки.

Почему я все ночи здесь полностью
у твоих пропадаю дверей?
Ты сама догадайся по голосу
семиструнной гитары моей.

Я всм сердцем люблю этот город.
Как приветлив и как он хорош!
Ну, а мне он особенно дорог
потому лишь, что ты в нем живешь.

ОЙ ТЫ СВЕТЛАЯ, ЯСНАЯ НОЧЕНЬКА

(Песня из кинофильма „Рассвет на Востоке“)

Ой ты светлая, ясная ноченька,
ты любимой моей не светлей,
что осталась одна-одинешенька
с большою любовью моей.

У меня ты, как песенка, складная,
все приятно — улыбка и грусть.
Только жаль — на тебя,
ненаглядная,
никогда я не нагляжусь.

Ушел я в море, море-синее.
А тоска, тоска зеленая..
Ты не плачь, красавица,
вода и так соленая.

Ушел я в море, море-синее.
А тоска, тоска зеленая..
Ты не плачь, красавица,
вода и так соленая.

Ой ты светлая, ясная ноченька,
ты любимой моей не светлей,
что осталась одна-одинешенька
с большою любовью моей.

Ушел я в море, море-синее.
А тоска, тоска зеленая..
Ты не плачь, красавица,
вода и так соленая.

*

* *

Иду,
В молву стоустую
Свой добрый голос влив,
И под ногами чувствую
Шестую часть Земли.

Меня вперед ты выслала,
Чтоб песней жить помог,
Передо мной ты выслала
Сто троп и сто дорог.

Свои моря глубокие,
Пруды светлей стекла,
Передо мной широкие
Ты реки пролила.

А в пору ту, рассветную,
Чтоб радость сердце жгла.

Любовью первоцветною
Меня не обошла.

И в пору гроз губительных,
Грозивших жизни всей,
Ты мне дала решительных,
Испытанных друзей.

Лишь прикажи,
Что выстроить,
Какую песнь сложить.
Мне без тебя не выстоять,
Мне без тебя не жить.

Ты мне сама наградою,
Ты радость мне и грусть.
И верю и правдою
Тебе служу я, Русь.

*

* *

Наш путь —
Не воздушная трасса.
Прошедший огни коммунист,
Боец восходящего класса
И в чувствах и в помыслах чист.

Пусть тело сколочено грубо,
Он вам, стебельки, не чета.
В нем сердце живет однолюба,
Одна им владеет мечта.

Он знает одну откровенность,
На лжи ты его не лови.
Как знамени алому верность,
Он верность хранит и в любви.

Невзгоды походов и странствий
Такому легко перенести.
Романтика есть в постоянстве,
Романтика в верности есть!

Не плачет он в буйном разгуле
И чувства свои не дробит,
Он знает и верит, что пуля
Бьет крепче и дальше летит.

Я тоже хитрить не умею,
Я чувством живу дорогим.
Но встречусь с таким и жалею,
Что в чем-то я не был таким.

В РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ ИЛЬИЧА

Горит заря на гранях Мавзолея,
Простор Кремля до уголков прогрет.
В весенней тишине, благоговей,
Вхожу в его рабочий кабинет.

Вот здесь сидел он
В креслице плетеном
Под отсветами кафельной печи.
Звонки его кремлевских телефонов
Отсюда расходились, как лучи...

Звонил наркомам,
Вызывал Царицын.
Строителей встречал пожатьем рук.
Как здесь смогли
Прекрасно разместиться
И Штаб и Академия наук!

А я мальчишкой, помню, в эту пору
Бродил Москвой с ватагою сирот,
Огрызки собирая вдоль заборов,
Ютясь в тени калиток и ворот.

А он, наверно, по пути на митинг
Заметил нас и тут же, говорят,

Звонил в Чека: «Прошу вас, помогите,
Устройте в трудколонии ребят!»

Разруха. Голод. Цехи опустели.
В окопах корки черствы и горьки.
А нам в коммунах — теплые постели,
А нам, сиротам, — сытные пайки.

У Ильича — страна перед глазами,
Доклады, письма, новых книг тома.
Жена, заметив, что он очень занят,
В приюты к детям ехала сама...

Теперь бы нас, сирот,
Вождем возвращенных,
Со всей страны собрать бы вот сюда:
Строителей, писателей, ученых —
Какая это армия труда!

Перелистать далеких лет страницы,
Что каждый в сердце ревностно берег,
И по-сыновьи низко поклониться
Тебе, Кремля священный уголок!

НА БЫВШЕЙ РОГОЖСКОЙ ЗАСТАВЕ

(Отрывок из поэмы)

Он не был в таежном острого,
Его не дождался централ,
Октябрь на сибирской дороге
Его у Иркутска догнал.

В чащобах дремучего леса
Колодники смяли конвой, —
И вот он, гужоновский слесарь,
Вернулся с этапа домой.

Минуя канавы и рощи,
Крапиву, что ливень омыл,
Вернулся недавний подпольщик
К руинам станков и горнил.

Достал из походной котомки,
В которой он свято сберег,
Цепей арестантских обломки—
Свидетелей тяжких дорог.

Достал и, толпой окруженный,
Взмахнул, горячо задышав:
— Будь прокляты
цепи гужонов,
Бери их, мартен, в переплав!

Довольно, навек относили.
Пусть гнет порастает быльем,
А тяжкие пути России
На молот и плуг перельем.

ВПЕРЕДИ — ДОРОГИ

В росе босые ноги.
Иду — трава по грудь.
И хочется в дороге
Немного отдохнуть:

Присесть на пень замшелый,
Котомку сбросить с плеч,
И целый день без дела
Лесной покой стеречь...

Иван в обнимку с Марьей
В твои глядят глаза;
Ты здесь хороший парень,
Здесь быть плохим нельзя.

Дрожит осинник робкий:
Теплынь — а он продрог...
И убегает тропка
Из-под усталых ног.

Чуть свистнешь — отзовется
Тебе проворный дрозд,
Спешит большое солнце
Допить остатки рос.

Сидишь.
Босые ноги
Кусают муравьи...
А впереди — дороги
И все они — твои!

ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ

Люблю
цвет
голубой —
это синь горизонта, дальние страны.
Это — землю баюкают океаны,
это — небо над головой!

Люблю
цвет
хвои над нами,
весенней травы под ногами.
Зеленое пламя
вспыхнувшей почки
по ветке взбирается, как по цепочке.

Люблю
желтый
цвет —
это рассвет.
Это — смотрит подсолнух солнцу вослед.

Люблю
цвет
белый —
это пруттик заиндевельный.
Атомный ледокол во льдах...
Но есть еще
цвет
красный!
Он необходим,
чтоб небо синее было ясным,
чтобы не стлался черный дым,
чтоб отступили желтые пятна пустыни,
чтоб зеленая саранча не оставляла полей
пустыми,
чтоб седина не дружила с нами...

Красный цвет —
наша кровь,
наше знамя!

ПОКОЛЕНИЕ

Он родился под раскаты
Канонады Октября.
Шли матросы, шли солдаты,
Шли отцы и сыновья.
По панелям пули пели,
Стекла, падая, звенели.
В парке бились моряки.
Мать лежала на постели,
Зубы сжала, кулаки.
Выстрел грянул с новой силой —
Все упало со стола.
Ничего не говорила,
Никого не позвала.
Только поздней этой ночью,
Потеплей укрывшись, мать
Мягкий маленький комочек
(«Ах, сыночек мой, сыночек!..»)
Стала сыном называть.
Утром муж пришел из парка,
Все поглаживал усы:
— Нам, выходит, два подарка:
Революция и сын!..
...Сын стоит в цеху металла,
Там, где плавка льет зарю.
Нынче двадцать лет сравнялось
И ему и Октябрю.
Мысли вьются вереницей..
Вот пройдет годок, другой, —
И не будет лучше птицы,
Лучше чайки, что кружится,
Баловница, за кормой.
Как отец, надену блузу,
Темно-синий воротник.
По большим морям Союза,
Может, плавать не привык?
Научусь, чтоб наше знамя,
Наше знамя, слышишь, мать,
С боем взятое отцами,

В жарких схватках не отдать!
Он идет.
Вскипает синий
Работяга-океан.
И проходит сын России
Там, где бури и туман.
Видит ночи штормовые,
Чует, — близится беда..
Он идет в сороковые
Беспощадные года;
Он идет в ночи блокадной,
За Октябрьский свет боец;
Он идет дорогой ратной,
По которой шел отец.
Но земля отцов и дедов
Бесконечно далека.
Наступает час Победы.
Где ты, где, Нева-река?..
И в поверженном Берлине,
Поднимая красный стяг,
Сын задумался о сыне —
Как там будущий моряк?
И ему, поди, не спится,
И его манит прибой,
Чайка — птица, что кружится,
Баловница, за кормой..
Внук растет в отца и деда,
Любит море, песню, труд..
Так проходит год победы,
Так еще года бегут.
И стоят они все трое,
И глядят на город свой,
Где осеннею порою
Грянул выстрел над Невой.
Вот проходит с песней рота,
Загрели якоря..
Внук идет в объятья флота,
Под знамена Октября.

ДВЕ ЗВЕЗДЫ

В рязанском небе многозвездном,
Над старой ивой две звезды
Сияют в воздухе морозном,
Глядят на рощи и сады.

Одна — красавица такая! —
Прильнув к заснеженным полям,
Горит всю ночь, не потухая,
И ровен свет ее и прям.

Другая нервно и тревожно
Свой голубой бросает луч.
Следил за ней я с троп таежных
И с азиатских знойных круч.

Я узнаю звезду вторую,
Ее люблю, по ней тоскую.
А встречу с первой — и опять
Глаз от нее не оторвать!

ПРИДАВИЛО СОСНОЙ СОБОЛЕНКА

Придавило сосной соболенка.
Над зверьком наклонилась девчонка.
А за ней собралась вся бригада:
— Вот досада!
— Какая досада!
А у девушки брови соболя...
Парень смотрит с тоской и любовью:
— Пожалела, видать, соболенка...
Вот девчонка!
Какая девчонка!
...Придавило сосной соболенка.

*
* *

Студеный ветер вскинул в небо флаги,
Газеты шелестели, как листва.
На жесткой, на оберточной бумаге
Прочел я в детстве жаркие слова.

В тумане запоздалого рассвета
Работал я, расклейщик, муравей.
Прямая речь советского декрета
На битву созывала сыновей.

Ни сон, ни сказка нас не приголубит,
Все выросли, к чему теперь покой!
Седел декабрь, горели свечи в клубе,
И пели мы: «Воспрянет род людской!»

И, вспоминая пройденные годы, —
Войну, разруху, долгий труд, войну,
Не проклинаю вас, мои невзгоды,
О радостях нездешних не вздохну!

Я замерзал, я падал, голодая,
Но вытер слезы кулаком с лица.
Республика Советов молодая
Согрела в стужу нищего мальчика.

Дала подростку ленинское слово
И приколола звездочку на грудь...
Земля моя!

Как прежде, мы готовы
Пройти с тобой нелегкий дальний путь!

НА ФЕСТИВАЛЬНОМ ШЕСТВИИ

Вдруг в переплетенье флагов, солнца, танца
нам сверкнул неповторимый свет:
нет, не кожа угольного глянца,
не улыбка белозубая, — о нет!
Мы, советские, в ладонях иностранца,
в бережных ладонях африканца
увидали ленинский портрет...
Он не знал по-нашему ни слова,
этот парень, кроме одного.
Не назвал он имени родного, —
улыбался. Только и всего.

Я пять раз видал живого Ильича,
а боюсь рассказывать об этом.
Молча показать бы свет его луча,
как вот африканец с ленинским портретом.

*Июль, 1957 г.
Москва.*

*
* *
Тайга родила меня
в темном лесу,
В зеленую
мокрую ночь.
Гладили ветви
ее по лицу,
Старый кедр
ей старался помочь.
И долго металась
и билась она,
Долго стонала от мук.
Я родился
в дебрях
дремоты и сна,
Весел, упрям и смугл.
Я будил их как мог,
я сил не берег,
Чистым голосом
в небе звеня.
И глядели медведи
из древних берлог
С удивлением на меня.
С белками
весело я играл —
Шишки ловил на лету.
У края пропасти замирал
И жадно глотал
пустоту.
О тайга,
моя хвойнорукая мать
В мягком собольем меху,
Ты большая,
тебя не могу я обнять,
Лишь целовать
могу...
Я ушел от тебя
по воде, по весне,
Я живу от тебя вдалеке.
По ночам
ты являешься мне во сне,
Прикасаешься хвоей
к щеке.
Я навеки
близкий тебе и родной,
Дай мне зоркость
и гордость гор,
Чтоб не сбился с пути я,
следи за мной
Глазами
своих озер.

*
* *

Прошу,
 надо мною не смейся ты,
Дай погладить
 волнистые волосы.
Где ж следы
 моей прежней смелости,
Моей дерзости,
 моей вольности!
Позволь мне
 смотреть доверчиво
На тебя
 с утра до вечера.
Нашел я тебя,
 мечту мою,
Да не радуюсь
 свету белому.
Не знаю,
 чего я думаю,
Не знаю,
 чего я делаю.
Я раньше
 считал это сказкою,
Я жил,
 не тужил, не тревожился...
Белочка
 моя ласковая,
Маленькая таежница.
Ты бредишь
 горными кручами,
 о них
 лишь по книгам зная,
Ресницы твои
 дремучие,
Свежесть твоя лесная!..

*
* *

Где жил я и рос, Где бегут ручьи, За тысячи верст расцвели Раскрылись Навстречу солнцу На них	а ты не бывала, быстры и чисты. от московских бульваров совсем не такие цветы. навстречу теплу и сиянью, апрельского дня;	молчаливо глядят Саяны, Нежность под шапкою снега храня. Хочешь — схожу? И, усталый и гордый, Принесу подснежник, Такой же синий, И белый, как холод их вечных вершин!
---	--	---

ФЕСТИВАЛЬНАЯ

На углу, где площадь Мира,
Парень ноты продавал.
Ветерок листал клавиры,
Что-то тихо напевал.

А потом у парня ловко
Ноты выхватил из рук:
Фестивальной листовкой
Эта песня стала вдруг.

Понесло ее сначала
Москворецким ветерком,
Словно лодочку качало
У меня перед окном.

На окно листовка села,
Я тогда ее взяла
И запела, как сумела,
И к друзьям своим пошла.

Поддержал мой голос кто-то,
Подхватила вся Москва.
Полетели без пилота
Дружбы теплые слова.

КОММУНИСТ

Может, вдруг заиграют тревогу,
Темной ночью разбудит горнист,
Самый первый уйдешь ты в дорогу,
Коммунист, коммунист!

Сердце друга своим ты заслонишь,
Если пули послышится свист,
И партийную честь не уронишь,
Коммунист, коммунист!

Ты за правду стоишь, за свободу
И душой справедливою чист,
Верный сын трудового народа,
Коммунист, коммунист!

*
* *

Да, нелегко быть в головном отряде,
Торить тропу и первыми идти,
Всегда в лицо суровой правде глядя
И не страшась превратностей пути.

То встретишь бурелом, то под ногами —
Ухабы, кочки, выступы камней..
Для тех, кто следом движется за нами,
Все будет легче, проще и ясней.

Зато восторг невиданных открытий,
Как никому, разведчикам знаком.
Тем собраннее мы и боевитей,
Чем круче и стремительней подъем.

Да, мы порою в ссадинах, в ушибах,
Но, гордые призыванием своим,
Мы не скрываем собственных ошибок
И трудностей похода не таим.

В дороге радость чистую изведав,
И одолев горчайшую беду,
Мы, не боясь ни брани, ни наветов,
Лишь крепнем и мужаем на ходу.

Мы участи иной и не хотели.
Верны тревожной, хлопотной судьбе,
Сознание правоты и ясность цели
Мы взяли в прожатые себе.

БУХАРА

Знойный город Бухара. Невозможная жара.
Камни старых минаретов накаляются с утра.

Пыльный город Бухара. От песков не жди добра.
Серый прах листву осыпал, словно пепел от костра.

Древний город Бухара, где керамика пестра,
Где узорчатые стены, наподобие ковра.

Славный город Бухара. Золотые мастера.
Не тускнеет, не стареет красок чистая игра.

Здесь талантливый народ. Он — знаток любых работ.
Он — и лепщик и чеканщик, он и ткач и хлопковод.

Где рыжел кибиток ряд, зданья белые стоят,
И тончайшею резьбою украшается фасад.

По широкому шоссе, по зеркальной полосе
Мчатся быстрые машины мимо древних медресе.

Новый хлопковый массив. Куст раскрывшийся красив.
Он сверкает, землю эту, как снежком запорошив.

А в читальне городской и прохлада, и покой,
Лишь страниц чуть слышный шелест раздается день-деньской.

Тут студенты, доктора, старики и детвора,
Лесники из Шафрикана, с грензавода мастера.

Тишиною зал объят, только книги говорят —
Пушкин, Горький, Авицена — их послушать каждый рад.

Пусть за окнами еще камни пышут горячо —
Слома ждущие строенья тянутся к плечу плечо.

Рядом звон в листве сквозной — здесь посадка шла весной.
У журчащего фонтана никакой не страшен зной.

В сквере детская игра затевается с утра.
Дышит свежестью грядущей юный город Бухара.

Юрий ЧЕРНОВ

1917-й

В Центральном музее Советской Армии хранится маузер красногвардейца Я. С. Шаробурко, который в октябре 1917 года в числе первых ворвался в Зимний дворец.

Был горизонт от канонады дымный,
От канонады сотрясался Зимний.

И сыпалась на мрамор штукатурка,
И стекленел кадетов мертвых взор.
Из маузера Яков Шаробурко
Прошлой расстреливал в упор.
И юнкера повисли на перилах,
А Шаробурко шел сквозь чад и дым,
И в Зимний эра новая входила
По выщербленным лестницам за ним.

НОВОСЕЛУ СИБИРИ

На солнце запотели бревна
Зернистой свежей смолой.
Строгай же их рубанком ровно,
Грызи зубастой пилой.

Давно ль полотнища палатки
Дожди хлестали и ветра?
Был быт необжитым и шатким.
Теперь на огороде — грядки,
Совсем как дома, у Днепра.

Мечтаешь ты: «Теперь бы жинку,
Хозяйку в хату привести.
(Да хорошо бы украинку,
Да кареглазую найти.)»

Она б сама разрисовала
Барвинками степными печь.

И в светлой хате зазвучала б
Певучая родная речь».

Так что ж грустишь ты в вечер вешний?
Эй, хлопец, перестань вздыхать.
Ты лучше выстругай скворечню
И на сосне ее приладь.

Чтоб по весне к вам прилетали
Сюда чижи или скворцы,
И чтоб скворечни обживали
Твои веселые жильцы.

Все будет у тебя!.. Я знаю.
Ты, как дубок, корнями врос
Здесь, в землю нашего Алтая,
И уголок родного края
Из Украины к нам принес...

По-эвенски, по-хакасски
Мне рассказывают сказки
Кедры, птицы и ручьи.
Сказку древнюю народа
Говорит седобородый
Смуглолицый азанчи¹.
Сказку русскую, бывало,
Мать узором вышивала
На хрустящем полотне...
Сказка явью обернулась

В миг, когда ты улыбулась,
Молодая зорька, мне.

От тебя, от черноглазой
Не слышал еще я сказок,
Только сердце сердцу весть
Подает...
И, дорогая,
Хороша ты и такая,
Вот такая, как ты есть!..

¹ Азанчи — сказитель (хакасск.).

И Р И С

Голубой душистый ирис...
Он у нас в Саянах вырос,
Где когда-то я бродил,
Где с берданкой за плечами,
Наклоняясь над ручьями,
Воду пригоршнею пил,
Где на лыжах я зимою
За проворной кабаргою
Мчал по снежной целине.
Птицы днем и звезды — ночью
В тишине лесных урочищ
Собеседовали мне...

И когда с тобой простились,
Сорвала ты горный ирис
И сказала: — Береги...
В книге он лежит засушен
И еще тревожит душу
Нежным запахом тайги.
Что цветок? Пустяк, казалось —
Он засох, а ты осталась,
Чтоб в душе моей расцвести...
Хорошо, что есть на свете
И цветы, и звезды эти...
Что любовь была... И есть!..

Борис ШАХОВСКИЙ

*

* * *

Пусть порой жестки и угловаты
Те слова, что забиваю в стих.
Только б правду молвить о солдатах,
О друзьях — ровесниках своих.

Пусть строка кряхтит от перегруза.
Пусть от слов шершавых захрустит.
Знаю я — обстрелянная муза
Мне мою неопытность простит.

А солгу, так сколько не проси я,
Не отпустят мне мои грехи
Кровью отстоявшие Россию,
Кровью создающие стихи.

РУЧЕЙ

Где надолбы заржавели уже
На грозном в дни былые рубеже —
Бежит неутомимый ручеек,
Средь подмосковных рощ беря начало, —
Серебряный веселый пустячок,
Его и курица б не замечала.
Над ним сверкает реактивный шмель,
Дуб свысока в его глядится воды..
А ручеек за тридевять земель
Ворочает морские пароходы.
Мы многое свершаем на веку,
А в жизнь вошли шагами небольшими,
Дадим же работяге-ручейку,
Как человеку, собственное имя!

Александр ШПИРТ

СОЛДАТ

(Из цикла «1917 год»)

Я солдатик рядовой
Я иду с передовой
Не богатым и не нищим,
С ложкою за голенищем.

Я иду себе пешком
С вещевым моим мешком.
За плечом висит винтовка,
А в мешке лежит листовка.

Наступает вечерок,
Налетает ветерок,
Вдруг меня — я слышу вроде —
Подзывает «благородье».

— Ты куда идешь, стервец?
Разве уж войне конец?
Разве ты разбил Вильгельма?
Побывал в Берлине, шельма?..

— Я не шельма, не стервец,
А одной войне — конец,
А другой войне — начало,
Той, что землю обещала.

Я солдатик рядовой,
Я иду с передовой.
За плечом висит винтовка,
А в мешке лежит листовка.

ДАЧА В ПОДМОСКОВЬЕ

Терраса.

Сосны в розовых лучах.
Не дача — просто домик деревенский.
Мужчина стройный. У его плеча,
На светлом фоне неба — профиль женский.

Он и она так были хороши
В зеленом мире, в легком хвойном дыме,
Что дед, который к поезду спешил,
И тот залюбовался молодыми.

Мне жизнь твердит: «Они теперь старей,
Они забыли о любви горячей».
Но я — я больше верю той заре
И соснам тем на подмосковной даче!

Людмила ЩИПАХИНА

ЮНОШЕСКОЕ

Я хотела, чтобы было просто,
Чтоб тебя не мучали вопросы...
Девочка, несдержанный подросток,
По ветру распущенные косы.

Но летели песни по эфиру,
В кинозалах гас внезапно свет,
И входили новости в квартиру
Стопками уложенных газет.

Разговоры у костра и дома,
Улицы, залитые огнем,
Целый мир, большой и незнакомый,
Заставлял задуматься о нем.

А потом с испанскими ребятами
Мы сдружились, встретившись едва.
Стали удивительно понятными
О борьбе правдивые слова.

А вокруг шумели в бурном росте
Фабрики, заводы, города.
Нет! Не будет в нашей жизни просто
И легко не будет никогда!

Здравствуй мир, тревожный и серьезный,
Сложные законы бытия!
...Хорошо, что ты пришла не поздно,
Вдумчивая молодость моя.

†
* *

Та истина, что вертится Земля,
Для всех давно уж прописною стала,
Но за нее когда-то, сея страх,
В темницы инквизиция кидала,
Кромсала плоть, сжигала на кострах.

Есть и другая истина. Она
Становится неоспоримой тоже.
Прольется крови много, слез людских, —
Враги ее не смогут уничтожить,
Какие бомбы ни были б у них.

«На всей земле наступит коммунизм!» —
Гласит она, умы мечтою будит, —
«Все люди станут жить семьей одной!»
И эта истина, наверно, будет
Тогда казаться тоже прописной.

В ДОМЕ ОТДЫХА

М. И.

Тропинок — полями, лесами —
И воздуха здесь хватает,
И гнезд соловьиных с птенцами
Немало, где чаща густая.

Видны сквозь березки поляны,
Все в травах, солнцем нагретых.
Лишь выйди из двери стеклянной,
Повсюду июня приметы.

Они и в цветке и в кипенье
Пахучих березовых веток...
Не быстро сбежав со ступенек,
Шла женщина мимо беседок.

В косынке цветной, смуглокожа,
В зеленое платье одета,

Вся чем-то на лето похожа,
На раннее жаркое лето.

От листьев, что трогали плечи,
Узорчато тени дрожали.
Мужчины без пошлых словечек
Глазами ее провожали.

За три с половиной недели
Иные с ней в роще бывали,
Подолгу в беседке сидели...
А вот целовали — едва ли.

И все же, когда после чаю
Ее увезла «Победа»,
Для многих, как я замечаю,
Померкли все прелести лета.

ХРОМОЙ МАЛЬЧИК

Мальчик хромает,
Мальчик хромает,
Летом хромает,
Хромает зимой.
Словно в ботинок попала горошина,
Словно земля под ногой перекошена.
Мальчик хромой.

Дом его строил
Опытный плотник,
Клал половицы
Ровно и плотно,
Но утверждают ноги босые,
Что половицы в доме косые.

Как он пойдет на большое задание?
Как он к любимой пойдет на свидание?
Голову доктор над этим ломает.
Мальчик хромает.

Ну, а пока что молчит медицина,
Лечит народ хромонокого сына.

Площади,
Улицы,
Скверы,
Мосты —

Не замечают его хромоты.
Дети бегут на пригорок вприпрыжку,
Тянут с собою хромого мальчишку.

Тянут без скидки,
Тянут, как равного.
Это в лечении самое главное.

Лыжники кличут его,
И я вижу:
Он припадает на правую лыжу.

В море с ватагой ребят попадает —
В море совсем хромота пропадает.

В тире он в черное яблочко целится.
В школе чертеж его самый прямой.
И ни один человек не осмелится
В спину ударить словом:
«Хромой!»

Вот он идет.
Что-то шепчет дубрава.
Звезды качаются слева направо,
Словно качает отважного малого
Слева направо гудящая палуба.

В ДНИ ФЕСТИВАЛЯ

Теплый ливень хлынул с утра,
Точно так же, как и вчера.
Что ни площадь — новое море.
Громяхают тучи «ура!»,
Торжествам фестивальным вторя.

Обволок водяной туман
Острокрышие горизонты.
И под каждый московский зонтик
Жмутся гости из разных стран.

В заводской район забредя,
На трамвай
У скрещенных улиц
Негры, сизые от дождя,
К длинной очереди примкнули.

Людам, вымокшим до костей,
В эту пору не до гостей.
Поскорей бы в вагон, под крышу;
Не волнуют значки мальчишек,
В страхе матери за детей.

Но когда
По ступицы вброд

На углу трамвай появился, —
Как по стовору расступился
Перед неграми весь народ.

И в вагоне, который был
Переполнен сверх всякой нормы,
Кто-то сразу вскочил проворно,
У окна места уступил.

Надо было видеть гостей,
Их глаза и смущенные лица!
Знать, на родине на своей
Им такое — черным — не снится.

Робко вклинились в тесноту,
Робко сели, не отказались
И растерянно улыбались:
В первый раз наяву, в быту
С новым миром они встречались.

И под ливнем десятки глаз
Потеплели вдруг, подобрили...
Верно, многие в первый раз
В этот миг себя разглядели.

*

* * *

Солнце марта в степь вошло,
Скрадывая расстоянья,
И от этого сиянья
Стало на сердце тепло.

В каждой льдинке огонек,
Будто всею мощью звездной
Млечный путь на землю лег.
Но денек еще морозный.

Наст такой, что грузовик
Вдруг свернул на холм пологий
И понесся без дороги
Снежным полем напрямик.

На холме стоит село,
Заметенное до окон.
До весны еще далеко —
Ни приметы, ни намека,
А уж на сердце тепло.

2

МОЯ МОЛОДОСТЬ

Москва —
это зеркало из серебра.
Смотрю —
показывает мне меня
в девятнадцать лет.
Я, как прыжок,
как тридцать два зуба без червотчины,
а мир — орех.
Но для себя лично
я ничего не хочу.
Только, чтобы любимая девушка
коснулась моих пальцев.
В пальцах ее — самая большая тайна в мире.
Руки мои
делят хлеб:
побольше для друзей,
поменьше для меня.
Я целую глаза с трахомой
в деревнях Анатолии.
Паду смертью храбрых
где-то на свете
за счастье своего народа,
за все народы.
Мое сердце
понесут на бархатной подушке,
словно
Орден Красного Знамени.
Оркестры сыграют траурный марш.
Наших умерших
мы закопаем в землю
у подножья стены,
словно плодородные семена.
А на земле — наши песни,
не по-турецки, не по-русски,
не по-английски,
а по-песенски.

В снежном лесу лежит больной Ленин,
сдвинуты брови — думает о ком-то,
смотрит в белую темноту,
видит грядущие дни.
Я — как прыжок,
как тридцать два зуба здоровых,
а мир — орех
с железной скорлупой,
но полный добрыми вестями.

Подстрочный перевод автора.

ПИСЬМО ДАВИДУ ОЙСТРАХУ

Вы были в Стамбуле.
Она была на вашем концерте.
Вы сделали счастливой
несчастную женщину.
Ее глаза
посмотрели на ваши пальцы,
как два зеленых листа
поднимаются к дождю.
В своем письме (она пишет):
«Я забыла
обо всем, слушая».

У нее
нечего забывать,
кроме горя.
«Я плакала, пишет,
мне хорошо сделалось».
«Мир, пишет, прекрасен,
и я спокойна».

Вы — единственный человек,
к которому я ревную,
мастер.

Подстрочный перевод автора

СТАРЫЙ ВЯЗ

Весь я в облаках, я весь пропитан морем.
Я старый вяз в парке Гюльхане,
Весь в ранах и сучьях.
Но об этом ни ты не знаешь, ни полиция не знает.

Я старый вяз в парке Гюльхане.
Моя листва плещется, плещется, как рыба в воде.
Моя листва — как шелковый платок, шелестящая, —
Сорви же, любимая, вытри слезы.
Моя листва — мои руки, у меня сто тысяч рук.
Ста тысячами рук я дотрагиваюсь до тебя,
до тебя и до Стамбула.

Моя листва — мои глаза. Всматриваюсь, удивленный.
Ста тысячами глаз люблюсь тобой и Стамбулом.
Мои листья бьются, бьются, как сто тысяч сердец.

Я старый вяз в парке Гюльхане.
Но об этом ни ты не знаешь, ни полиция не знает.

Подстрочный перевод автора

БАЛЛАДА

Море в синие волны его заковало —
Дикий остров, где чайки летят стороной.
Здесь людей от вселенной отрезали скалы,
Но горели сердца за гранитной стеной.

И когда перессорились вихрь с темнотою,
Сторожа прозевали, как в лодке простой
Кто-то в море отчалил навстречу прибою...
— Ты куда пробиваешься, узник? Постой!

Ни звезды — задрожала одна и пропала.
Ночь, как сажа, черна. Доберешься ли ты?
В этом мраке проплыть тебе надо немало,
Где он, берег твоей дерзновенной мечты?

Ни звезды, ни попутного ветра, и дыбом
Волны, волны встают на тебя без числа.
Нет, плывешь, не сдаваясь бушующим глыбам,
Нет, не выпустишь на полдороге весла.

Ни звезды, ни попутного ветра, ни друга,
Только мысли о них, только вспомнишь порой,
Только губы соленые стиснуты туго...
Так он плыл, коммунист. Так боролся герой.

И тогда, раскатив белопенную гриву,
— Унесу! — перед ним закричала волна.
Ненадежную лодку поставила криво,
По глазам полоснула, от зла зелена.

Он подмял ее с силой, но сразу вторая
— Унесу! — закричала зеленой сестре,
Змеи кос распустила, как будто играя,
Чтоб безумец запутался в их серебре.

Он ударил веслом в эти пенные плети,
Раскидал, разорвал, и сломалось весло.
И, качаясь, волна леденящая, третья
— Уношу! — закричала.
И время прошло.

...Только с острова каждую ночью видали,
Как на крыльях трех волн разъяренных, дрожа,
Лодка шла сквозь морские тяжелые дали,
И боялись ее и гребца сторожа.

Не гребец неизвестный, а узник их юный
Уходил, уплывал, уносился вперед.
И глазами мечты за дорогой бурной
Видел берег советский и солнца восход.

Перевел Дмитрий Холеидро.

ПЕСНЯ ДОКЕРА

Я Сэлфорд мой не покидал
с рожденья никогда,
коль сброшу я со счета прочь
военные года.
Уж лучше б было стран чужих
вовек не видеть мне,
чем видеть их, идя в огне,
с винтовкой на ремне.

Есть сын — мальчонка у меня,
он — свет моих очей...
Тревожно думая о нем,
не сплю порой ночей.
Что в жизни сына может ждать,
когда оружия — склад,
когда летят, когда бомбят
в ночи чужих ребят!

Мне б Юг и Север повидать,
и Запад и Восток,
всю землю с милой исходить
и вдоль и поперек...
Но лучше век свой просидеть
над нашей Ирвел мне,
чем выйти к волжским берегам
с винтовкой на ремне.

С утра я в доки прихожу,
там труд кипит чуть свет,
и чей сосед каков на цвет —
о том заботы нет.
Бок-о-бок швед, араб и грек
работать могут там...
Вот так бы нашим жить властям
и жить позволить нам!
Перевела Вероника Тушнова.

РУКИ

1

Вот эти руки:
Материнская,
Свое дитя оберегающая;
Рука возлюбленной,
Доверчивая, теплая и ласкающая;
Ребяческая, пытливая,
Объять спешащая все сущее;
Крестьянская, трудолюбивая,
Как почва, урожай дающая;
Рука рабочего, могучая,
Как им творимое грядущее.

Они мне любы, эти руки
 Оптимистических миллионов,
 Живущих, любящих живое,
 Бесстрашных, ибо страх познали,
 Не раз ограбленных, но честных,
 Обманутых, но прямодушных.

Все эти руки
 Двойным своим усилием могут
 Раскрыть все двери,
 Сорвать все цепи
 И сотворить все чудеса.
 Люблю их.
 Это — наши руки.

Но ненавижу
 Руку того, кто губить из корысти женщин, мужчин и детей норовит;
 Руку, которая бомбу взрывает, чтобы хлынул дождь ядовит;
 Руку, которая распространяет чуму при помощи мух;
 Руку, что пристрелить готова всех, в ком жив героический дух;
 Руку, что холодно производит прибылям и убыткам подсчет,
 Руку хозяйскую,
 Руку господ,
 Останавливающую поднятым пальцем таксомотор, а слугу
 Подзывающую согнутым пальцем: мол, вот так изгибайся в дугу.

За миллиарды военных кредитов голосует эта рука,
 Рука, затворившая школьные двери для цветного ученика,
 Рука, которая дотянулась с ружьем, ножом и петлей
 До Розенбергов,
 Зои,
 Калеба...
 Да будет им вечный покой!

Вот что за руки — эти руки
 Отчаявшегося меньшинства,
 Цепляющегося безумно
 За клочья старых привилегий,
 И замышляющего тайно
 Зло, лезущее все ж наружу.
 Их мало, но они опасны.
 Я эти руки ненавижу
 И,
 наконец,
 обезоружу.

Перевел Леонид Мартынов

ЗЕМЛЯ КАЗАЛАСЬ ДАЛЬНЕЮ ВОЛНОЙ...

Земля казалась дальнею волной.
Песком и солнцем ярко отливая,
на горизонте мук моих сияя, —
вот-вот сейчас схвачу ее рукой.

На край тоски и доброты людской
в последний раз глядел я, уезжая.
Моя земля — и наша, и чужая...
И боль волной сомкнулась надо мной.

Корабль с корнями оторвал меня
от края, где печаль и белизна,
а утра свет был чист и нежен в море...

Стоял на палубе и думал я:
Народ в пути, как мощная волна,
находит счастье только на просторе.

Перевел с испанского О. Савич.

ВЕРНУВШИСЬ ИЗ ИЗГНАНЬЯ

На родину вернувшись из изгнания,
на родине опять изгнанник я,
и здесь любая радость для меня —
запретный плод чужого достоянья.

Земля невинна, и среди страданья
я без нее не проживу и дня,
верна и горяча любовь моя,
но радоваться нету основанья.

Животные, и камни, и растенья
полны живой, бесспорной красотой.
Мой край — безоблачных небес избранник.

Но здесь, где столько света и цветенья,
одни, в слезах, живут печаль с тоской,
и на своей земле народ — изгнанник.

Перевел с испанского О. Савич.

МОСКОВСКАЯ НОЧЬ

Как московская ночь ясноглаза!
Как прекрасен ее убор!
Светят золото и алмазы
С Ленинских гор.
Пусть для вас это образ всегдашний, —
Я, вьетнамец, молчать не могу,
Как сияют кремлевские башни,
Что видны на моем берегу.
Фестивальная ночь...

От улыбок

Ты по-юному розова,
Свет твой добрый то ярк, то зыбок,
Озарившая небо Москва.
Фестивальная ночь, ты бессонна, —
Это пять континентов земли
Провозвешьем грядущих законов
Мир и дружбу в Москве обрели.

...Завтра кончится праздник, но с нами
В дальний путь увезем мы его.
Если ж спросят меня во Вьетнаме,
Что же было прекрасней всего?
Я отвечу:

— Конечно, алмазы,
Что светили нам с Ленинских гор,
И кремлевский огонь ясноглазый,
Пробивающий мрак и простор.

Перевел Лев Ошанин.

ЧЕРНАЯ РУДА

Когда испарилась на солнце последняя капля индейского пота
И дренаж золотой лихорадки обескровил индейскую расу,
И на столько-то миль не осталось живого индейца,
Повернули они к африканским живым половодьям,
Чтоб найти непрерывную смену отчаявшейся голытьбе.
Так начинался неистовый поиск
Драгоценного черного мяса,
Начиналась свирепая давка
В погоне за отсветом полдня на черных телах.
В пору было задуматься химикам,
Как добывается редкостный сплав
Новой черной руды. В пору было хозяйкам
Размечтаться о кухонной утвари
В лице сенегальского негра, о чайном сервизе
В лице негритенка с Антильского берега.
В пору было священнику
Обещать прихожанам
Новый колокол, отлитый из негритянского стона.
В пору доброму деду-морозу
Смастерить в новый год
Оловянных солдатиков черного цвета,
Смельчаку капитану какому-нибудь
Раскроить своей шпагой черный эбен.

Услыхала земля, как вгрызаются сверла
В плоть и кровь моей расы,
В мускулистые залежи черной породы.
Миновали столетья, и длится и длится добыча
Чернокожих этих сокровищ.
О, родовые железные муки народа,
Неисчерпный поток человеческих слез!
Сколько пиратов пытало оружие
В таинственных недрах жизни твоей!
Сколько бродяг моряков прорубало дорогу
К живородной поросли черного тела,
Устилая столетья сухими стволами,
Затопив их озерами слез!
Ты, до нитки ограбленный, голый народ, развороченный,
Как земля после пахоты,
Ты, народ перемолотый,
Чтоб насытились самые мощные мельницы мира,
Береги свой металл в самых тайных глубинах ночей!
Никто не осмелится пушки направить и золото сыпать
На расплавленный паводок черного гнева!

Перевел с французского Павел Антокольский.

ПРАВДА ЛИ ЭТО?

Правда ли, расист, что в распорядке
Мировых несчастий для тебя
Негры хуже, чем рудничный газ,
Хуже, чем вулкан или самум?

Правда ли, что сила рук моих
И твоя стиральная машина —
Два коня в одной твоей упряжке,
Два раба в наручниках одних?

Правда ли, что ты предпочитаешь
Белый свет автомобильных фар
Черному огню моей свободы,
Лапochку своей собаки белой —
Жару моего рукопожатья?

Правда ли, что ты предпочитаешь
Самым легким и веселым фильмам —
Зрелище расистского костра,
Серый пепел сердца моего?

Правда ли, что у тебя
Постоянно под руками
Петля, назначенная мне,
Свинец, нацеленный мне в сердце,
Немая карта жил моих,
Да трибунал, всегда готовый
Сослать меня в крошечный мрак,

Да саван, скроенный по мерке
Моей души?
О, белая змея расизма,
Несытая мою кровью,
Хотел бы я, чтоб этот яд
Рожила ночью
Злая сплетня,
Как я хотел бы, как хотел бы,
Охотник за моею жизнью,
Увидеть слабое сиянье,
Которое тебе покажет
Обратный путь к добру и людям!
Кровь негритянская, хлеща
В те дни, когда цветет весна,
Велит мне быть настороже.
Ты на моем пути стоишь,
А кровь пролитая поет,
Что ты, как череп на плакате,
Предупреждающий о смерти,
О самой худшей из смертей.
«Негры! Читайте!
Смертельно!
Смертельно!
Смертельно!
Бешеная собака!
Здесь заминировано!
Белый расист —
Высокое напряжение».

Перевел с французского
Павел Антокольский

НОЧЬ ЛИНЧЕВАТЕЛЯ

Жене сказал он, что пойдет
Немного погулять,
И вышел.
У него в душе
Еще сияло солнце Джесси.
А голову сверлила мысль,
Как острый волчий голод.
Он вышел.
Слева от него
Ребенок спал, как спит цветок
Весенней тихой ночью.
А справа мысль его горела,
Как пара красных волчьих глаз.
Он вышел.
У него в душе

Еще сияла ночь любви,
А на короткой сворке справа
Волк разъяренный скалил пасть.
Он долго шел. Вернувшись в полночь,
Нашел он дома сердце Джесси,
Знакомый садик перед домом
И дочку, спавшую, как спят
Цветочки раннею весной.
И волк, бежавший где-то справа,
Голодной шерсти не щетинил.
Когда я вышел на дорогу,
Звезда сказала мне, что там,
В ста метрах от дороги, негр
Последней кровью истекает
Под звездами ночными.

Перевел с французского
Павел Антокольский

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ВСЕ РАДИ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ

Я хоронил мертвых,
Я пел о живых героях
 Ради любви к тебе.
Я поднимал к солнцу
Знамена свободы и правды
 Ради любви к тебе.
Я смотрел, не робея,
На кровь, что смешалась с грязью,
 Ради любви к тебе.

И, не сгибаясь под пулями,
В глаза палачей глядел я
 Ради любви к тебе.
Я не хотел смиряться
И не просил пощады
 Ради любви к тебе.
И, знаешь, я очень часто
О своей любви забываю
 Ради любви к тебе.

ГОЛОС ПОГИБШЕГО

Меня убили потому,
Что я держал живую розу.
Меня убили потому,
Что я не мог скрывать улыбки.
И только в том моя вина,
Что как-то раз весенним утром
Был обнаружен белый голубь
На крыше дома моего.
И только в том моя вина,
Что никогда не прятал я
В своей душе мечту о мире.
И этот путь был с давних лет
Начертан мне самой судьбою,
Когда лежал я в колыбели,
Когда я ел, давая клятву,
Хлеб со слезами пополам.
Они нашли в моей груди
Одну великую надежду, —
За это я и был убит.

Однажды рано поутру
Я был поставлен ими к стенке.
Когда ж они взвели курки,
Я стал расти все выше, выше,
Я стал как памятник себе.
Я ими был убит за то,
Что просто к миру обращался:
«Привет мой, с добрым утром, мир!»
И, настежь отворив окно,
По-детски радовался людям.
Я верил людям, и они
Мне добротой отвечали.
И если сердце
Так полно
Одной мечтой, одной любовью, —
Скажите, —
Что я делать мог
И как бы мог я жить иначе?

Перевел Михаил Матусовский.

**ГЛЯДЯ НА ФОТОГРАФИЮ НЕГРИТЕНКА,
ЗАДЕРЖАННОГО ПОЛИЦИЕЙ В КЛИФТОНЕ**

Черный мальчик, играй веселей,
Черными ножками прыгай смелей!
Ты — надежда большого народа,
От века влачащего тяжесть цепей.

Черный мальчик, играй в пыли,
Для тебя не оставили лучшей земли.
Люди идут то вперед, то назад,
То любопытен, то грозен их взгляд.
Не огорчайся, малыш, пустяки —
Сделало солнце тебя таким.

Прошу об одном — не стой на пути,
Где белый ребенок может пройти.
Пускай обида твоя горька,
Маленький, лучше уйти от греха.
Читаю в глазах твоих грустный вопрос:
За что эти муки и кто их принес?
Постой-ка, да ты, брат, слезу уронил.
Неужто и впрямь ты заплакать готов?
Крепись, ведь когда ты плачешь,
Нил выходит из берегов.

Перевел с английского Р. Сефа.

Хайа КАДМОН

(Израиль)

**СКОРБЬ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ ТАЩИТЬ
НЕ СТАНЕМ ЗА СОБОЙ**

Сегодня я с утра усталости полна,
Как будто все еще безумствует война,
Как будто все еще склоняюсь над корытом,
Под тусклой лампочкой, удушенной лимитом.

Но мальчик мой уже лепечет в колыбели,
К приятию тепла и к радости готов;
И разве виноват младенец, в самом деле,
В зловещей ярости, в проклятьи алчных ртов?

Грядущий лучший день, идя по новым вехам,
По-своему создаст волшебный облик свой,
Его не омрачить былых печалей эхом!

Скорбь прошлых дней тащить не станем за собой!
Звучит восторга смех над юною судьбой,
Мы отвечаем ей жизнелюбивым смехом!

Перевел с иврита Александр Големба.

ПЛАЧ ЭКСКАВАТОРА

(Из поэмы)

Я был когда-то юным-юным.
Я жил тогда в предместье южном, —
ни город это, ни село.
Меня то солнцем жгло приморским,
то било дождиком промозглым,
то пылью угольной секло.

Вставали рано,
пили кофе
и шли работать в порт и в копи,
вор
воровал,
судья

судил.
Рассвет был бледный и недужный,
И на автобус, потный, душный,
как на Голгофу, я всходил.

Полу-дома,
полу-руины
белели, словно бедуины,
Торговец немощно бубнил:
«Оливки —
только что с оливы!..»

Бензина,
моря
и олифы
щемящий запах в душу бил.
Здесь ветром столько крыш сдувалось!
Все разрушалось,
все сдавалось
на милость будущего дня.
И я был сдачи той свидетель,
где вместо двери, снятой с петель,
как флаг о сдаче —
простыня...

Я много видел,
много вынес,
но вновь пришел сюда,
где вырос,
и вот в молчанье я стою,
а мощный, грузный экскаватор,
вдруг развернувшись резковато,
срывает эту простыню.

И справа все летит,
и слева...
Ломает он жестоко,
слепо,
но сам растерян и смятен.
Я слышу —
он дрожит всем телом, --
он и помочь хотел бы стенам,
и все же их ломает он.
А стены плачут,
крыши плачут,
что ничего теперь не значат,
и слез своих они не прячут:
им больше жизни

смерть страшна.
Машина стонет и грохочет:
сказать машина что-то хочет, —
ломая,

плачет и она.
Все плачет —
то, что бытом было,
и то, что этот быт убило,
по мертвым плачет и живым.
За все слезами каждый платит —
и то, что было домом, —

плачет
и плачет то, что будет им.
Но вижу я —

парнишка потный
ту простыню,
нагнувшись,
поднял,

от пыли отряхнул слегка.
Она в руке его усталой
вдруг от заката стала алой,
и только не было древка.
И понял я

всем сердцем,
телом,
что и закат годится в дело,
и, как на боль земли ответ,
он рвался,
освещающая хаос,
в руке рабочей трепыхаясь, —
закатом созданный рассвет.

ИЗ ГОРОДА ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Вернувшись в начале года из Индии, где происходила конференция писателей азиатских стран, я, проездом через Бирму на родину, остановился в Куньмине¹. Это было во время Праздника весны, и я был глубоко взволнован, оказавшись в кругу молодости, заполнившей Куньмин — этот зеленый город, где зимой цветут камелии. Мои чувства, вызванные этой чудесной встречей, запечатлены в стихотворении «Из города Вечной Весны», которое я посвящаю юности всего мира, празднующей сейчас в Москве свою новую славную встречу.

О, Куньмин,
 Куньмин,
 город
 Вечной Весны!
 Такова уж
 в Куньмине
 природа:
 у чудесного города
 дни красны —
 все четыре
 времени
 года.
 Я
 с горы «Пять цветов»
 оглядел
 в ту ночь
 этот город
 глазами поэта.
 Десять тысяч домов
 мне сияли точь-в-точь
 огоньками
 ночного
 света.
 ...Сотни
 радостных пар
 танцевали
 вокруг —
 молодые
 друзья и подруги.
 Но слепой была
 одна из подруг -
 соловей
 на цветущем юге.

В белом платье она
 напевала в лад
 бесконечно счастливым
 парам.
 Нежный голос ее
 всех милей услад,
 а душа
 трепетала
 жаром.
 Трепетала она,
 как под ветром лист,
 как трепещет
 во сне
 ребенок.
 Нежный голос ее
 был, как небо, чист
 и, как детская песня,
 звонок
 Песню
 юных сердец
 я забыть не могу,
 в этой песне —
 душа Китая!
 ...И вела за собой она
 всех в кругу,
 над Куньмином
 в ночи витая.
 ...Нет,
 не видит, конечно,
 певица
 нас!

¹ Куньмин — столица юго-западной провинции Китая Юньнань.

Я в раздумье:
грустна она ли?
Нет!
Окончилась песня
в рассветный час —
гром оваций
 пронесся в зале.
Гром оваций!
 ...А девушка,
 как цветок,
не увядший от испытаний,
излучая
 волшебный
 весенний ток,
улыбалась
 с зарею ранней...
Я приветствую,
 девушка,
 волю твою!
Твое сердце
 сильней ненастья!
На китайской земле
в обновленном краю
мы познали,
 что значит счастье!
...Вечер тот
вдалеке.

А мой слух
 согрет
незабвенной вовеки
песней.
Слышу
голос тот,
облетевший свет,
и становится
 жизнь
 чудесней.
И давным-давно, —
 не упомнить дня, —
как уехал я
 из Куньмина.
Только песня
 звенит
 в ушах у меня,
как ручьями
 звенит долина.
И опять,
позабыв про ночные сны,
с теплой грустью
 под песню эту
я, как в юные дни
 голубой весны,
устремляюсь навстречу свету!

Перевел с китайского
Михаил Вершинин.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

(Глава из поэмы «Черный ветер»)

Это время застыло
на стертых клише,
но из памяти я не сотру
ни окопников,
вылезших из траншей,
ни матросские ленточки на ветру.

Не сотрется зарево
этих лет, —
лет, распятых трассами пуль!
Перекрещен крестом
пулеметных лент,
у костра неподвижен патруль.

Это время восстаний,
время трибун, —
зря стараешься,
память хитрая:
все равно сотрясается
мерзлый грунт
под босыми

полками

голодного

Питера.

...Высоки пороги,
да и годы — старше,
не звенят дороги
солдатским маршем,

не расстреляют Зимний
пулеметной лентой,
не отдаст команду
прапорщик Крыленко.

Пусть иные дали
сегодня видны,
пусть огонь революции не утих,

я завидую вам,
грозовые дни
поколенья, которого нет в живых.

Я завидую
грубой свежести слов,
первым всходам колхозных полей,
холоду глаз,
теплоте стволов,
сумасшедшему натиску дней.

Мы узнали сегодня
иной урон —
здесь бессильны
штык,
наган,
динамит:
через наши души проходит фронт
молчаливых смертельных битв.

Ежедневно — жара,
ежедневно — зной,
каждый день — грозовые ливни.
Ведь за наши сердца продолжается бой, —

кто не видит этого —
гибнет.

О стальные быки
разбивается лед,
нелегко за течением угнаться.

А ветер сечет,
а река течет,
та же самая,
что в Семнадцатом!

Перевел с польского
Эдмунд Иодковский.

В ЗЕРКАЛЕ МОСКВЫ

Есть города, что носят маску,
Используют актерский грим,
А карнавал огнем своим,
Своей игрой, своим лукавством
И ад бы сделать мог святым...

Бывают фразы — для парада:
Они порой густым плющом
От взглядов укрывают дом;
Но солнца свет считать не надо
Цветным копеечным лубком!

Москва! Мне по сердцу твой праздник.
Я вижу, как смываешь ты
Всех горестей своих следы,
Как к цели, солнечной и ясной,
Ты строишь стройные мосты.

Москва! Ты будущее мира.
Но и сейчас я вижу то,
Как среди огней, фанфар, цветов,
В твоих домах, в твоих квартирах
Простое счастье вьет гнездо.

На улицах танцует юность.
Она — как песня широка,
Как новая Москва-река.
Ты с ней поешь, кипя, волнуясь,
Не постаревши за века!

Твой Кремль и Ленинские горы —
Весь город в полуночный час,
Как отшлифованный алмаз,
Свой яркий блеск струит в просторы
И светом озаряет нас.

Москва — все та ж: в нарядных красках,
Когда льет дождь, когда парад,
Когда кругом на бал спешат...
И кто сказал, что город — в маске?
Так ведь сегодня ж — маскарад!

Огней Москвы, садов и башен
Уже нам век не позабыть.
Мы звенья с ней одной судьбы.
Здесь все пути скрестились наши —
Пути побед, пути борьбы.

Москва еще прекрасней ночью:
Дождем причесана она
И в зеркалах отражена.
И меж камней прочтет, кто хочет,
Былых преданий письмена.

Лицо Москвы открыто взглядам.
Здесь тот же шумный быт квартир
И юности веселый пир,
Здесь строят светлые громады
И с дружбою рифмуют мир.

Перевел Игорь Кобзев

У В Е Р Е Н Н О С Т Ъ

Не завлечет обманчивая речь.
Свой путь мы знаем — он прямой, как луч.
Успел дозор в теснине гор залечь,
Чтоб землю от угрозы уберечь.
Сумеем, как во тьме ее ни прячь,
И впредь прогнать ее с дороги прочь!

Накал и строгость незабвенных лет!
Нас продавали мещанин и плут.
Нам сволочь всякая плевала вслед.
Тяжка была дорога, ветер лют.
Нас Готвальд вел. Его сегодня нет.
Но мы идем, как партия велит.

А сколько счастья — если ты не слеп —
Добыли мы. Окреп, а не ослаб
Народ мой, труженик и жизнелюб!
Вот улица, вся в белом цвете лип,
Невеста — в радуге венков и лент,
Сосною терпкой пахнет новый сруб,
И на столе уже досыта хлеба.

Еще не много беззаботных песен?
Что ж, верно это. Тяжек и опасен
Наш каждый шаг, и уж давно нам тесен
Каморок ряд... Но в блеске новых весен
Мы выподем всю лебеду. И наземь
Всю выплеснем болотистую плесень!

Вдали — зарницы. Созревает плод.
Парная мгла над пашнями парит.
К нам изобилье близится. Берет
Земля свое, и чернозем прогреет,
И сочный вызревает виноград.
Уже на сбор его идет народ,
Чуть свет, как на торжественный парад.

Покуда пенится речной порог,
Дозор на горной высоте залег.
Как распогодило! О, как вокруг
Все ясно! Над безбрежием дорог
Лишь облака да птичий переклик.
И как бы ни был труден и далек —
Наш путь, мы знаем, ясен и велик!

Перевел с чешского
К. К о в а л е в.

ИЗ ПОЭМЫ «ПЕСНЬ ЛЮБВИ ТВОЕЙ
МЕЧТЕ О МИРЕ»

...Да, люди звали меня Айкичи Кубойяма.
Я когда-то рыбачил в садах океана,
Собирал ледяные плоды в закипающей пене,
Спал на ложе коралловом,
Чешую серебристую клал в изголовье.

Жил я в домике скромном
Над бухтой открытой.
Я помню
Эту хижину, всю оплетенную ветром,
Как вьюнком ароматным.
Он рос из подводных глубин.
В этом доме подруга ждала меня.
Ночью ждала, на рассвете,
В час, когда добывал я
Свой горький улов,
Хлеб насущный,
Среди океана.

Были счастливы мы.
Пусть еды не хватало порою,
Но любовью мы были богаты...
Утром сети чинили.
Покоилась ласка моя
На груди у жены,
В золотистых ладонях любимой.

В храме полночи били часы,
И волна в колыбели баюкала звезды.
В этот миг выходил я с друзьями
В океан
На «Фукуру Мару».

Помню, первого марта мы подняли парус
рыбачий,

Как всегда.
А прибрежные чайки махали крылами,
Словно ткали платок белоснежный
Для прощанья навеки.
Ясной ночью луна, как маяк,
Низвергала лучи с вышины.
А в сетях трепетали созвездья —
Они затонули,
Мы их снова добыли со дна.
И была тишина
Глубока, как во сне...

И тогда появились
Палачи Хиросимы,
Убийцы детей Нагасаки,
Что взметнули над Бикини
Черный разросшийся гриб
Водородного взрыва,
Чтобы точную цифру узнать,
Сколько стонов последних таится,
Сколько злобной энергии скрыто,
В этом страшном заряде.

И на жизни моей испытали той мартовской
ночью

Силу смерти.
Был мир опален и изранен.
Все сожгли, даже воздух,
Всю флору кругом отравили,
Изувечили фауну.

Жертвы понес в эту ночь
Экипаж на «Фукуру Мару».
Я погиб от руки палачей
И веки не встану.
Как жемчужная раковина, предо мной
Створки мира захлопнулись плотно.
Кровь моя,
Как погибшее осенью дерево,
Лепестки осыпая, свернулась, иссохла.
Агония долгой была.
И ушел я.
Средь гибельных рифов
Сел на мель
Моей жизни разбитый челнок.

Айкичи Кубойяма!
Пусть снова наполнятся ветром
Паруса твоей лодки рыбачьей.
Подними свой загубленный якорь,
Поплыви по надежному курсу
К рейду будущего — он синее,
Весь усеянный голубями.

...Вы, по ком безутешно рыдают невесты,
Вы, чьи матери на сердце носят
Нескончаемый траур,
Покиньте
Ночь подземных, подводных могил,

Тьму войны,
Озаритесь улыбкою жизни!
Свету радуйтесь,
Воздух, пронизанный песней, вдыхайте!
Приходите,
Живите,
Печальтесь и радуйтесь вместе с людьми!

...Выплывайте ночами на рыбную ловлю,
Пожимайте шершавые руки крестьян
И похлебку отведайте в хижине прачки.
Поглядите на мир с высоты деревянных
подмостков,

Сплошь заляпанных глиной и краской,
Где по нитке кладут кирпичи.
Приходите,
Живите той жизнью,
Что хлебами вокруг золотится
И лучится любовью к людям!

Пусть не будут уделом атома —
Разрушение и смерть,
Пусть его бесконечная сила
Возвращает здоровье больным,
Пусть рождает он новые реки,
Изобилием полнит поля,
Пусть он тьму озаряет огнями
Новых станций, дешевых и мощных.
Пусть он двигает корабли,
По земле развозящие радость,
Пусть он голод навек уничтожит,
Похоронит нужду и несчастье.

...Расщепляйте энергию атома,
Растворяйте ее неустанно
В чистой песне любви.
Пусть она, разрастаясь, как море,
Землю миром зальет...

Перевел Яков Хелемский.

БОЛЬНО ЗА ЧЕЛОВЕКА

Ни предки мои, ни пахари отчего края
никогда предателями не бывали.
На зов отчизны спешили,
за правду стояли от века...
Великим их жертвам
я цену великую знаю.
Но больно мне,
больно за человека!

Мне больно за человека!
Но если во имя свободы
потребует родина новые жизни отдать ей,
за правду вступиться, ценою любовью, —
будьте спокойны —
я с поля боя
не позову моих кровных братьев!

Если угроза рабства
над нами нависнет снова,
если грудью своею защищать отчизну придется,
никому не скажу:
«Брось оружие, погибнешь иначе!»
Только не удивляйтесь,
если горько заплачу,
как все жены и матери шара земного.

Тяжко видеть, как свежие ветки ломают,
выгоняют зверя из логова,
ловят и травят,
как в отчаянье птица над гнездом разоренным кружится...
Как же можно смириться,
если пулей сражен, человеческий сын умирает?

Радуюсь стаду, которое мирно пасется,
ветрам, которые дуют, куда им угодно,
радуюсь травам шуршащим,
птицам, парящим вольно...
Мне ль не оправдывать жертвы
во имя спасенья свободы!
Но все-таки больно мне
за человека, больно!

Перевела Вероника Тушнова.

3

ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

Я пишу о только что ушедшем друге, который моложе меня на пять лет. В ранней юности, когда мы впервые встретились, возрастная разница ощущалась, как нечто огромное, решающее, и действительно, она определила все главное в складывающихся дружеских отношениях. С годами это ощущение стерлось, мы стали как бы ровесниками. Но сейчас, когда его уже нет на белом свете, разница выросла с беспредельной силой: мне еще предстоит стариться и бодриться, а он навсегда останется таким, как на этих страницах.

1

Когда умер его отец — Александр Федорович Луговской, бывший для юноши не только отцом, но и первым учителем родного языка, первым школьным наставником, — Володя сильным плечом отстранил псаломщика у отцовского гроба и встал на его место. Он начал читать стихи Александра Блока, которые любил отец. Впоследствии Володя рассказывал об этом с гордостью и с трепетной печалью, которая свидетельствовала о глубине пережитого на пороге возмужания. Какие это были блоковские стихи, не знаю, может быть, и сам он неясно помнил. Мне мерещится, что это были вещи строфы о России, о ее вековой истории — чистый источник, из которого все мы черпали в двадцатых годах:

...Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
степную даль...
...И вечный бой! Покой нам только снится
сквозь кровь и пыль...

Его собственные первые стихи были полны отголосков той же вековой дали — и удельная княжеская Русь, и аванпосты ее борьбы с ордами степных кочевников, и новгородские ушкуйники, и война Иоанна Грозного, и строительство Петербурга, и московский пожар двенадцатого года, и нахимовский Севастополь... Критики называют такие стихи «реминисценциями». Сказать по чести, не слишком я доверяю этому термину и мало понимаю, что он означает. Да и какая там реминисценция, если сквозь образы вековой давности упорно пробивается сам поэт, если

он присутствует в стихах, как главный виновник их движения:

И ты, мой товарищ, ватажник каленый,
И я, полоумный гуслирник,
А нас приволок сюда парус смоленый,
А мы новгородские парни...

А если и нет прямой речи автора, — все равно лирический герой поэта это наш современник, а не выходец седой старины:

— Сын мой, сыночек, чурбан ты сосновый,
Что же ты разбойничать задумал снова?
Я ли тебя, дурня, дрючком не била,
Я ли тебя, дурня, Христом не молила?
— Что мне, мамаша, до христовая рая:
Сила мне медвежья бока распирает...

И вполне естественен заключительный богатый возглас:

Пусти меня, мамка, не то печь сворочу!

Так начинался Владимир Луговской. Нет, это не картинные баллады Алексея Толстого, писателя старшего поколения, не любование седой стариной, не игра в стилизацию, характерная для символистов. Это бессознательный поиск предшественников, поиск социальной родословной. Что стоит за поиском, можно догадаться: желание прожить — хотя бы в творческом воображении — десять молодостей сверх одной, отпущенной каждому из нас. Лермонтов искал или изобретал своих предков то в Шотландии, то среди испанских грандов. У советского поэта схожее желание проявилось с очень большой непосредственностью, ничем не прикрытое. Оно было для него началом всех начал, первой узловой станцией на большом пути.

Впечатления от окружающей действительности постепенно накапливались и были уже изрядно накоплены, но еще не пришел час, чтобы они властно ворвались в стихотворные строки: двадцатилетний поэт предпочел им впечатления от прочитанных книг, от всего богатого и сложного инвентаря русской культуры, обступавшей его с детства.

В хорошую минуту он шутивно возводил свою генеалогию чуть ли не к языческому Стрибогу, — неприхотливая юношеская романтика, игра сил одаренного художника, который никогда не лжет, даже если сочиняет!

И действительно, этот смуглый, широкоплечий и статный красавец в шелковой красной косоворотке под пиджаком, недавний курсант военной школы, напряженно и открыто живший всей тогдашней революционной жизнью, ее активный участник, автор агиток для кремлевского клуба курсантов, очень похож был и на новгородского ушкуйника и на гвардейца-фельдъегеря времен Екатерины.

Чтоб ветви шипели горячечной вязью,
Дыханье ломалось в груди
И залит был серой стоверстной грязью
Зеленый гвардейский мундир...

У него было право сказать о себе:

Дорога идет от широких мечей,
От сечи и плена Игорева...

Вот почему так ненаигранно-народно прозвучал этот голос при первом же прикосновении к революционной теме гражданской войны — в знаменитой «Песне о ветре»:

Сибирь взята в охапку.
Штыки молчат.
Заячьими шапками
Разбит Колчак.
Собирайте, волки,
Молодых волчат.
На снежные иголки
Мертвые полки
Положил Колчак.
Эй, партизан,
Распуская сельчан.
Раны зализать
Не может Колчак.
Стучит телеграф:
Тире, тире, точка.
Эх, эх, Ангара,
Колчакова дочка!..
На сером снеге волкам приманка:
Пять офицеров, консервов банка.
Эх, шарабан мой, американка,
А я девчонка да хулиганка!

Выдумать это из головы, стилизовать личную поэзию под такую песенную стихию вообще невозможно. Она была для Луговского первоначальной данностью, была *им самим*:

Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки, по следам Улагая...
Зашумела, загремела, зашурганила,
Из винтовки, из нареза меня ранила.
Ты прости, прости, прощай,
Прощевай пока,
А куда обещаешь
Не беречь бока.
Не ныть, не болеть,
Никого не жалеть,
Пулеметные дорожки расстеливать,
Беляков у сосны расстреливать...

Жалко обрубить цитату, потому что дальше еще лучше, еще ближе к народному вос-

приятию войны, подвига, гибели. Но кто же не помнит этих стихов! Многие сгинет в нашей поэзии, как шлак руды, отработанной в поисках единственного грамма радия, но в юношеских стихах Луговского останется навсегда железо и кровь: железо великой истории и кровь великого народа. Конечно же, эти стихи были написаны не только им, — само время диктовало ему и было его соавтором: это случается только с большими поэтами. В наших спорах о народности советской поэзии, о ее глубоких и прозрачных источниках мы бываем и ленивы и забывчивы. А между тем вот образец, на который чаще надо ссылаться! Пренебречь им было бы делом прежде всего нехозяйским.

2

Шли годы. Он менялся и рос на наших глазах. Бывало и так, что предавался смутным и случайным ощущениям, по видимости сложным, а на самом деле искусственно взбудораженным, подогретым на чужом огне. Тут была и нехарактерная для этого подвижного человека узость кругозора в четырех комнатных стенах, и тоскливые жалобы на любовные неурядицы, и витиеватый, невразумительный метафоризм. Конечно, бывало и такое, потому что здоровый и страстный человек ни от каких бед не страховал себя и ни в чем не берегся.

Но проходила унылая полоса, рассеивался искусственный туман от первого прикосновения к жизни, — будь оно путешествием в новую, неизвестную страну, приездом старого боевого друга, перед тем исчезнувшего с горизонта, газетной полосой, потрясшей поэта своей новизною. И тогда круче и тверже завязывался стих, становился он уверенным и ясным. И если, например, в ранних его стихах восклицание «Азия» казалось почти междометием, вырвавшимся от полноты восторга («Дробот колес. На мосты наскок. Мчит паровоз на Владивосток. Азия») или, наоборот, в ужасе («Нудно в вагоне. Гуляет сплин. Тянет поручик сухой кокаин. Азия»), то в тридцатых годах, когда он приехал в среднеазиатскую республику, он рассматривал ее, как политический, сознательный человек, как зоркий журналист и знаток истории: Азия перестала для него быть видением, померещившимся в вагонном окне, Азия явилась дорогой бесчисленных поколений, колыбелью человеческой культуры, «народовержущим вулканом», — Луговской мог вспомнить и это слово Гоголя.

Книга Луговского «Большевикам пустыни и весны» — одна из лучших его книг. Лирический поэт раскрывается в ней заново и неожиданно. Стихи этой книги — куски большого эпоса, куски непосредственных наблюдений, почти репортаж, живьем выхваченный из жизни и не потребовавший литературной правки, и рядом с этим куски историко-философских обобщений, которые под силу только самостоятельно мыслящему человеку.

Луговской впервые лепит здесь характерные фигуры. Их очень много в книге, — хватило бы на большой социальный роман! Они действуют, движутся, говорят свойственным им живым языком, сообщают автору сведения о себе и о своей стране. Поэтому и сама поэтическая книга непрерывно движется, в ней зафиксирован процесс раскрытия мира, — процесс, не предвиденный и не предугазанный, без заранее данной композиции и плана. Мы могли бы сказать: «киноочерк», «документальный фильм», «натурная съемка», — да, до некоторой степени производственные термины другого искусства могут здесь пригодиться. Но вернее всего, поэзия, искусство старшее по отношению к кино и несравненно более суверенное, обойдется без чужой помощи.

Кто же эти действующие лица, населяющие книгу поэта и обуславливающие ее движение? Это советские люди отнюдь не исключительных достоинств и не исключительной судьбы, но герои в романтических ореолах, но рядовые «большевики пустыни и весны» в годы исторического перелома в нашем сельском хозяйстве, работники полей и воды, пограничники Туркмении в их повседневной борьбе с басмачами. Поэт правдиво и точно рисует их славные дела в обыденной обстановке.

Донбассовский штейгер с чудесно угаданной интонацией обращается к горной скале: «Отвори-ка, матушка, ставни, — здесь лежит ветерит». Работающий рядом с ним бухгалтер, оказывается, «собирает цветочки, иссох, как скелет. Он запоем читает истрепанный «Вокруг света». Это грустный бродяга и тайный поэт». Тут же и приبلудившийся кот, который, извольте ли видеть, «живет, как Печорин. Он сутками рыщет, возвращается гордый и кушает плов». Так непринужденно движется этот почти прозаический очерк, а вместе с ним сменяют друг друга понедельник, вторник, среда, четверг наших тридцатых годов на далеких форпостах советского строительства.

Какой-нибудь нищий дервиш на развалинах незапамятно древнего Мерва, этот полусказочный флейтист — заклинатель змей обочивается у советского поэта заготовщиком змеиных шкур для Госторга «по полтиннику за погонный метр»: развенчанная романтика колониальной киплинговской Индии предстает здесь новой романтикой, еще более увлекательной.

Старик — знаменитый басмач, по имени Иган-Берды, за которым давно уже шла погоня и слежка, захвачен, наконец, пограничниками. Идет допрос:

Носком сапога пркатывая одинокий патрон на полу,
Нетвердыми, жирными пальцами поднял он пиалу...
Он рад, что кольцом беседы с ним соединены
Советские командиры — звезды большой страны.
Он никого не грабил и честно творил бой...

и звучит казуистика хитрого врага, переданная с большой психологической точностью. Читатель может ощупать его глазами, он слышит его дрожь, сам разоблачает его попытки сберечь свою жизнь перед лицом неопровержимых улики.

Надо постоянно и ежечасно чувствовать себя сыном великого поколения, чтобы всюду и везде, в малом и большом, явном и скрытом, видеть сквозь частокोल фактов их историческое значение. Очень хотелось бы цитировать еще и еще, и каждая цитата украсила бы бедную статейную прозу гораздо лучше, нежели мои похвалы. Но у меня другая задача: я хочу прежде всего показать самого Луговского, каким он встает в этой книге, во весь рост, уже достигшего тридцатилетия писателя, мужественного, зоркого, несокрушимо здорового:

Я хочу говорить словами совсем простыми.
Только жар простоты укрепляет и может помочь,
Если сердце твое лежит на ладони пустыни
И его прикрывает ладонью пустынная ночь.
...Мир, наполненный звездами, поглотил меня
без остатка,
Мир, наполненный шорохом, переродил меня.
На меня надвигается войлочный конус палатки,
Стол верблюдов и топот коня.
И тяжелая Азия в черном своем убранстве,
С бородой, поседелой от солончаков...

Уверенная сила Луговского шла от ясного ощущения и ясного сознания своей позиции в мире. Это не только идейная, идеологическая ясность, хотя, само собой разумеется, она очень многое значит для каждого писателя. Луговской никогда не забывал, что он — Поэт (нарочно пишу с прописной буквы), то есть бодрствующий страж всех сокровищ мира, сокровищ природы, культуры, души. Он

знал, что эти сокровища поручены поэту, как никому другому, и поэт отвечает за них перед лицом будущих поколений.

Ну, а что же нам приbedняться в самом деле, если мы действительно любим и чтим свое искусство! Ведь это и составляет достоинство и призвание поэта!

3

В одной из следующих его книг, «Европа», прежде всего явственна прямая гражданская тенденция: обвинения, брошенные в лицо капиталистическому миру, достойны стоять рядом с лучшим и в советской поэзии и вообще в русской поэзии прошлого. Они сродни и Лермонтову:

Не так ли ты, о европейский мир,
Когда-то пламенных мечтателей кумир,
К могиле клонишься бесславной головою...

Стихи этой книги пронизаны теми же грозными молниями, что и соответственные стихи Маяковского. И здесь та же ясность позиции организует и отбор впечатлений и высокий лиризм.

Книга «Европа» не случайна для Луговского и по другой причине: не с пустой головой пришел он в чужие и враждебные города, не праздным туристом и не отрицателем типа «шапками закидаем», для которого все, что не «наше», уже тем самым трын-трава. «Святые камни Европы», ее соборы, памятники, картинные галереи, весь инструментарий ее вековой культуры много и внятно говорил его сердцу и его разуму. И афинский Акрополь с трагическими призраками времен Эсхила, и верфи и доки «владычицы морей» Англии, еще недавно «розовой и полногрудой», и раскаты под сводами римского собора, — все это живые и, так сказать, непреложные категории для советского человека. Как ни праведно его негодование, как ни зорки глаза на социальную ложь и грязь, он обязан все помнить, все оценивать исторически. Стихи Луговского написаны двадцать лет назад, они обращены к злобе дня того времени. Устарела политическая злободневность, а стихи остаются в силе, они живут даже более интенсивной жизнью, нежели двадцать лет назад. Они отличны своей крупной, жесткой живописью, в которой поистине все «весомо, грубо, зримо»:

Волосатое круглое ухо прелата
Поворачивалось за клинком свечи,
Сухощавые ангелы в пасмурных латах
Сдвигали на фресках щиты и мечи.

И когда над удавом душистого тумана
Он смолкал и глотал, как ядро, кадык,
Снова в синих стволах векового органа
Закипала свинцовая злоба владык.
Но через окна с нимбами золотыми
Машины города протягивали зубчатый гул
Над медным набатом свирепой латыни,
Над волчьим рычанием папских булл...

Какое великолепное, сумрачное и тяжелое барокко в искусстве слова, какая избыточность красок и звуков, где оркестрованы и трубная медь, и вздохи органа, и машинный гул мирового города! Это великолепие выполняет немаловажную функцию, если вспомнить о ясной тенденции стихов: чем ярче слово поэта, чем зримее его образ, тем точнее *прицел!*

Книга «Европа» завершала первый период в работе Луговского. Он вырос в зрелого мастера. Восприимчивый и отзывчивый, он легко, смело и быстро усваивал впечатления жизни и перерабатывал их за рабочим столом с завидным рвением. Дорога от жизни к стихам была короткой и прямой дорогой. Стихи звучали, как дневник или исповедь. И в том и в другом случае они были чистосердечны. Не ищите у Луговского лукавых иносказаний, литературщины, сторонних соображений — все равно не найдете!

Благодетельные силы, заложенные в нем природой, велики. Это творческий человек по преимуществу. Он создан для того, чтобы писать, писать, писать, исчеркивая и перечеркивая уйму белой бумаги. В автобиографии он рассказывает о своем отрочестве: «Самым загадочным и чудесным были для меня писчебумажные магазины, в которых я мог находиться часами, приносившая к запахам, перебирая тетради, карандаши, альбомы, краски. Все, что относилось к письму, рисованию, было для меня священо». Это восхитительное признание! Такой человек может написать и слишком много. Среди этого многого обнаружится и лишнее, и слабое, и вялое, недостойное его имени, недостойное войти ни в одно из переизданий, — что ж такого! Он не может и не вправе не писать, — он поэт, работник культуры, ее деятельный строитель, ее праведный борец!

4

В ту пору ему было тридцать с лишним лет. Жизнь его складывалась с блеском, — веселая, шумная, полная любви и дружбы, широко распахнутая всем ветрам времени. У него уже было много талантливых учени-

ков, которые называли его уважительно и нежно «дядя Володя». Они любили рассказывать о нем уморительные истории. То, глядишь, облюбовал дядя Володя какую-то замечательную куртку из змеиной кожи, «всю на молниях», — куртка нестерпимо пахнет дохлятиной, но шуршит на нем, и трещит, и скрежещет, как живая кобра. То вышел дядя Володя на московский бульвар в ярчайших клетчатых гольфах и в рубахе желтой подсолнуха.

Как никого из нас, молва награждала его неизвестно кем придуманными, необходимыми и верными прозвищами: «Кентавр революции», «Броносек». В этих прозвищах сочетались восхищение и улыбка.

В середине тридцатых годов начался второй прилив нашей дружбы, на этот раз особенно близкой и горячей. Мы встретились в Баку, в рабочей обстановке. Володя давно уже любил этот город и ревностно старался и меня влюбить в каспийское побережье, в нефтяные вышки, в азербайджанскую музыку. Работа наша была спешная, лихорадочная — над составлением, редактированием, переводами для антологии азербайджанской поэзии.

Перед нами открывались сокровища тысячелетней давности: куски эпоса от «Деде Коркуда» до «Ашуга Гариба», мусульманский феодальный мир, газели и касиды старинных лириков, полные горечи, нежности к женщине, философических раздумий о брэнной и короткой жизни; открывались хлесткие сатиры, так ясно говорившие о чиновничьем и купеческом обществе Закавказья в конце прошлого века, — сатиры, в которых угадывалось социальное напряжение девятьсот пятого года, первых битв бакинского пролетариата.

Володя неистово работал и вносил в бакинскую жизнь московскую хватку и деловитость, стремился заряжать этим и бакинских поэтов, весьма беспечно относившихся к собственной славе. Даже красавец Самед Вургун, уже тогда признанный их запевала, патриот народной песни, смотрел несколько недоуменными, хотя и широко раскрытыми глазами: как, мол, это так ловко спорится дело в руках у москвича, но не слишком верил, что именно так и следует работать.

Перед моими глазами встает закинутый гордый профиль Луговского на фоне широкого окна в бакинской гостинице, а за окном — рассвет, перламутровые и розовые облака над Каспием. Оттуда доносится к нам дыхание нефти и йода. Трубным, густым голосом, идущим со дна могучих легких, настолько трубным и густым, что не всегда отчетливо слы-

шишь слова, Володя читает только что написанное: о странствиях, о любимой женщине, о времени, летящем над нашими головами. Нет! Наверное, о чем-то еще более важном и для него и для меня. О том самом главном, что он впервые пытается охватить словом и сознанием. Об уходящей и никогда не кончающейся молодости, — вот о чем.

Ведь он был щедр, добр, раскрыт настежь для любой тревоги, для любого торжества. Но прежде всего честен и чистосердечен. Даже свойственная ему рисовка, даже самолюбование не были позой в пошлом смысле слова. Нет, это была поза с большой буквы, то есть переклест богатых душевных сил, — вечно артистическое или актерское, свойственное многим одаренным людям:

...Юность моя, ярость моя — ты ведь была такой!
Видишь — опять мой дин коротки, ночи идут без сна,
Медные бронхи гудят в груди под ребрами бегуна.
...Пусть для героев и для бойцов кинется с губ моих
Радость моя, горе мое — жесткий и грубый стих...

О чем же говорит он? О собственной молодости, о нашей революции, о России, о поэзии? Каждый читатель адресует по-своему. Одно только ясно: нельзя их адресовать никому одиночеству, ничему только личному. Стихи эти прежде всего *гражданские*.

5

Медленно и неумолимо нарастала в те годы сначала глухая, а затем и явная предвоенная тревога. Мы ловили на короткой волне заклинания и угрозы картавого, каркающего и лающего голоса из берлинского спорт-паласа, впивались по утрам в тассовские телеграммы, читали книжки и брошюры о фашизме. Мы были и старались быть в курсе всего, что делается в чужом, вражеском лагере. Мы жаждали мира, одного только мира, одного только созидательного труда.

А предвоенная тревога нарастала. В Луговской редактировал поэтический отдел в журнале «Знамя», специально связанном в то время с оборонной проблематикой, с военной и армейской средой. Так же, как и его старший товарищ по журналу, Всеволод Вишневский, Володя неистово и сосредоточенно готовился встретить грудью надвигающуюся бурю. Он часто встречался со своими давними друзьями-пограничниками.

Именно тогда он написал одно из лучших своих стихотворений, может быть, и самое лучшее — знаменитую «Курсантскую венгерку». Она помечена 1940 годом.

В прозрачном и суховатом блеске на диво слаженных стрóf возникает и трепещет, как синий огонек, воспоминание об отпылавшей молодости, о молодой любви, о навсегда священной для советского человека девятнадцатом годе:

Тревога, тревога, тревога!
Идет девятнадцатый год...

Какая отчетливость памяти, как строго и верно отобраны подробности для описания Москвы эпохи военного коммунизма, как упорен и настойчив этот ритм в три четверти, как трепетно звенят люстры в нетопленном зале!.. Но подумать только, — не пройдет и года, и тысячи советских юношей смогут применить к себе и к своим подругам этот грустный и упительный мотив:

Ты что впереди увидала?
Заснеженный черный перрон,
Тревожные своды вокзала,
Курсантский ночной эшелон...
Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме...
Четверку колючего хлеба
Поделит с тобой пополам...
И шелест потертого банта
Навеки уносится прочь...

И что-то в нем сломалось тогда, на долгие годы сломалось. Умные и заботливые врачи знали, как определить его недомогание, и совсем не знали, что ему противопоставить. Володе едва минуло сорок лет. Казалось бы, такой крепыш и здоровяк, — сильный, кряжистый дуб, глубоко ушедший корнями в землю, будет он ветвиться и зеленеть до скончания века. И вот опустилась гордая голова, засеребрилась ранняя седина, трудно он дышал, лихорадил по ночам, просыпался в холодной испарине, скакала без видимой причины температура. И так несвойственно это было ему, что каждый, кто знал его, думал: ничего, пустяки, завтра обязательно пройдет... Но приходило завтра, а положение не улучшалось. Железное здоровье обернулось своей противоположностью... Что же, мы не врачи, мы судим о разительной перемене по неясным отзвукам в собственной душе.

Слишком велика была у Луговского нагрузка самоотдачи за предыдущие годы. Он перерабатывал в буквальном смысле. Не спал много ночей подряд за письменным столом. Лихорадочно спешил закончить все, что задумал. Переводил слишком много чужого, увлекаясь чужим больше, нежели своим. Редактировал чужое и учил молодых поэтов

самозабвенно. Странствовал по всем дорогам родной земли, будь то асфальт шоссе, железнодорожные рельсы, воздушная трасса — все равно. Все это он проделывал безоглядно, безудержно. Правда, силы его были незаурядны, но и они оказались на пределе. Все, все, все было в этой великолепной, широкой, сложной и честной жизни и всего хватило бы на десятерых.

Следует вспомнить и о том, что за несколько лет пред тем он оказался за рубежом жертвой автомобильной аварии, вернулся в Москву с палочкой, долго прихрамывал, была и травма на черепе.

Годы Отечественной войны прошли для него особенно тяжело, если не мучительно. Быть в стороне от исторических событий, не в кадрах любимой армии, не на фронте, болеть все эти грозные и прекрасные годы в столице среднеазиатской республики, похоронить в чужой земле горячо любимую мать, на подступах к победе вернуться в Москву еле выздоравливающим москвичом, которого порядком забыли, — для такого человека, как он, было поистине страшно! Эта травма долго не заживала, она давала знать о себе вплоть до последнего часа. Об этом мы все, чтущие его память, не смеем забывать.

6

Да! Как раз в последние годы короткой жизни ждала его победа! Произошло чудо. Новый, молодой поэт пришел к нам. Свежий голос прозвучал на страницах журналов и на газетной полосе. Это всем памятно, как бывает памятен общий, хорошо и неожиданно удавшийся праздник.

Владимир Луговской снова предстал перед нами во весь свой рост... Но пускай он сам расскажет об этом:

Милая Азия, вот я вернулся,
Слышу тревожную силу свою,
Ветром произительным захлебнулся,
Телом, как дерево, потянулся,
Руки раскинул и вот стою...

...В эту ночь, как белый гребень на волне,
Сила счастья поднимается во мне,
И глаза далеко видят в мокрой мгле
Все, что заново вершится на земле.

К нему вернулось самое драгоценное в его политическом облике: напряженный лиризм. По самой своей природе безудержный, лиризм прорывается через каждые десять строк, дает знать о себе восторгом перед жизнью и вечным бодрствованием молодой души.

Последняя книга Луговского «Солнцеворот» была сдана в набор менее года тому назад. На поверхностный взгляд, она может показаться повторением пройденного: тут и его излюбленный Баку с нефтепромыслами и каспийским прибоем, и образы Средней Азии, и горный Дагестан, и, наконец, северная русская природа, самая близкая ему и родная, самая частая гостя его лирики. Да, на поверхностный взгляд краткое повторение, перепев самого себя.

Но «уголь превращается в алмаз», и вот в поэтическом хозяйстве Луговского произошел трудный химический процесс; многое перекипело в грубых ретортах времени, оседали горчайшие соли и едкие окиси, а жизнь продолжала свою добротную работу и превращала уголь в алмаз. В последних стихах Луговского прежде всего бросается в глаза уверенность и от нее идущая свобода. В первом же стихотворении «Гуси», напоминающем гениальную картину художника Рылова, мы читаем о весеннем перелете гусей:

Заря огнем холодным
Позолотила их.
Летят они свободно,
Как старый русский стих...
...Под крыльями тугими
Земля ясным-ясна.
Миллионы лет за ними
Стремилась к нам весна...

Здесь философия русской природы естественно сплавлена с философией русской культуры, и это не символика, не досужая игра словами, но основа авторского мироощущения, которое пронизывает всю книгу. Рассказывая об уральской крановщице красавице Любаше, Луговской без риторического нажима, без какой бы то ни было литературной «красивости» переходит к образу красавицы России, — и в этом переходе блоковская сила его стихов. Или вот лесной обходчик, который «слушает, что происходит в мире, молчат ли войны, снятся ль детям сны»... Или где-то в северном селе «бородатый художник... старый резчик, седой, как сибирский кот», окруженный сказочным колдовством белой ночи... Или, наконец, неожиданно резко мелькнула «смугла, русоволоса, в кожанке рыжей, молодость моя, девчонка, пулеметчица, красotka»... Все эти образы прежде всего объемны, они являются в распахнувшейся шири воспоминания и воображения. Все в них окончательно отчетливо, окончательно и навсегда перепето.

Как много, несмотря на беглость описаний, рассказано в коротком стихотворении

«Царь Эдип». Это целый роман во многих частях, со многими действующими лицами. А между тем рассказано о художественной самодеятельности в красноармейской части, в лесах Смоленщины: тут и юная библиотечка, играющая трогательную роль дочери ослепшего царя, и некий режиссер, хвативший с устатку чарку самогона, и «пять сотен деревенщин бородатых» — зрители представления, и, наконец, исполнитель роли Эдипа, ради которого написаны стихи, — «комвзвод железного Зарайского полка». Вспоминая о нем и представляя себе его дальнейший жизненный и боевой путь, поэт говорит обо всем нашем великом времени. Стихи эти представляются мне торжеством поэзии как метода и как мироощущения: только поэзия дает возможность такой емкости и такой сжатости. Только у поэзии есть право на эту емкость и сжатость.

Цикл «Памяти друга» написан по свежим следам утраты. Мыслям Луговского о неправимости человеческой смерти и в то же время о вечной жизни ушедшего в памяти тех, кто его любил, на этот раз свойственно *величие*, — величие отстоянного, на славу защищенного убеждения. Автор свободно переходит от памяти к зарисовке бытовой детали, сохранившейся в доме, от образа — к размышлению, от скупых и подавленных мужских слез — к светлому утверждению жизни, как вечного праздника. Уже много раз в этой статье я отказывался от соблазнительного шегольства цитатами. Так и тут незачем рубить и умерщвлять органическую ткань стихов, — поистине они требуют зоркого чтения! Той же настороженной зоркости, что потребовалась их автору.

Безусловной новинкой для Луговского является в этой книге пушкинская прозрачность, пушкинская легкая грусть, которая так близка и так сродни радости, что и неотличима от радости, — милая, вечная подруга русской лирики и песни.

Что ж в такую осень ищешь?
Молодость? Она прошла,
Золотое пепелище
Буйных листьев разнесла.
Счастья миг? Забытый голос?
Дружбы поднятый стакан?
Жжет ли сердце тайный голод
Или боль забытых ран?
Или та, что брови прячет
В темно-бурый лисий жар,
И от губ ее горячих
Облачком струится пар?
Может быть, ее не надо,
Только с нею мне нужны

Лист бродячий, жесткость сада,
Одинокий стон сосны —
Все огромное, живое,
Что зимой должно заснуть,
Что мне песней ветровою
Обещает вечный путь...

Многое еще хотелось бы сказать о его последних стихах, об очень значительной для всего пути Луговского поэме «Жизнь», к которой он возвращался на протяжении более чем двух десятилетий, об отдельных уже напечатанных в журналах циклах... Много ненапечатанного осталось у него. Среди этих рукописей законченная книга лирики «Синяя весна», книга «Середина века». Рассказ обо всем последнем периоде Луговского приходится отложить до той поры, когда все эти произведения станут достоянием читателей. Чем скорее это случится, тем лучше для нашей литературы.

Дважды подкрадывалась смерть к этому чудесному существованию, дважды сжимала его сердце. Во второй раз удалось ей черное дело: Владимир Александрович ушел из жизни за три недели до своего 56-летия, — на южном берегу Крыма, в ялтинской гостинице. Прежде чем свинцовый гроб с его телом прибыл на Внуковский аэродром, прежде чем простились с поэтом его московские друзья, писатели, поэты, почитатели, — с ним уже попрощался жемчужный черноморский прибор, который он так любил, попрощался и синий воздушный океан на высоте двух тысяч метров над землей. Да, он любил первозданные стихии, верен был могучим силам природы, и это правильно, что природа приняла такое щедрое и доброе участие в прощании с ним!

Среди встречавших его на Внуковском аэродроме и провожавших в последний путь на следующий день были и пограничники, давние друзья поэта, помнившие его и на Памире и на Араксе, были и старинные друзья юности, знавшие его по курсантской школе в Кремле.

И еще и еще раз вспоминалось первое, что было когда-то услышано от него:

Дорога идет от широких мечей,
От сечи и плена Игорева...

далекая дорога русского поэта, на совесть послужившего родному народу и беспредельно ему преданного.

Она закончилась у башни Новодевичьего монастыря, которая недаром дышит русской стариной, народным безмолвием и народным весельем. Где-то совсем недалеко его друзья, с которыми так много связано для каждого из нас: Багрицкий, Павленко, Вишневский, Фадеев. Луговской — рядом с ними.

Медленно уходит в историю славное поколение двадцатых годов. Дорогие нам человеческие облики, уже подернутые дымкой, становятся намного выше обычного роста. Если дать отчет в наших чувствах, то здесь не может быть чувства утраты, не может быть произнесено слово: «Прощай». Владимир Луговской остается среди нас, как спутник нашей юности и как спутник той юности, которая пришла и еще придет на смену нашей.

Веселый и дерзкий поэт, у которого все мы учились, сказал однажды: «Поэзия — пресвободнейшая штукавина — существует, и ни в зуб ногой». Пускай он сказал это по другому, пустячному поводу, но хорошее слово пригодится и в серьезном случае.

Год тому назад, когда мне исполнилось шестьдесят лет, Владимир Луговской написал о Павле Антокольском статью, которая кажется мне самым лучшим и верным из всего, что я когда-либо читал о своей работе. Да и не может она казаться иной, потому что написана близким другом и самым близким поэтом.

Но как далеко сказанное здесь от ответного слова, от здравицы в честь любимого человека! Так далеко, что дальше не может быть. Ответа он не услышит. Здравница безнадежно запоздала.

Во всяком случае, я обязан обойтись без выражения личных чувств. Они ни при чем. Задача этой статьи скромнее и проще. Она является попыткой обрисовать облик любимого поэта в его красоте и силе, в его сложности и противоречиях. Такая попытка обречена на неполноту и незавершенность, на приблизительные очертания. Еще не пришел срок, не завяли цветы на свежей могиле, не высохли комья земли, брошенной нашими руками. Когда завянут цветы и высохнет земля, сказанное здесь продолжат другие. Мое дело было начать.

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ

ИЗ КНИГИ «СИНЯЯ ВЕСНА»

ИЮНЬСКАЯ НОЧЬ

(1937)

Танки гудят.
А лето совсем молодое,
Совсем молодое, совсем молодое
Над неподвижной, неслышной
водою,

Озерной водою.
Месяц клубится
В дымке над сонным Валдаем.
Он хочет в озерах напиться.
Танки гудят.
Сова — полуночная птица —
Летит
Над встревоженным краем.
Фиалки —
Ночные красавицы —
Звездами вспыхнули в рощах.
Щука плеснула,
Ветер пронесся,
Мягкий и теплый на ощупь.

На западе и на востоке
Зорь,
Встречных зорь
Золотое свеченье.
Танки гудят —
Идут ночные ученья.
Как удивительна жизнь!
Неужто она
Возникла сама
Из клетки белка,
Чтоб видеть розовые облака,
Озера без дна,
Чтоб слышать,
Как дышит тревожно страна
И жилка пульсирует
У виска?

Белая ночь. Корабли — облака...

Близятся сроки
Неправых невзгод.
Близятся годы
Великих сражений —
Тридцать седьмой год,
Озера гладь, облаков отраженье.

Стоим мы и смотрим,
Как даль широка,
Как тянутся розовеющие облака
Нивесть куда,
Нивесть откуда вставая.
Комбинезон
Башенного стрелка
Синькой чернильной отливает.
Танк за танком
Уходят прочь
В призрачную, белесоватую ночь.

Куда ты глядишь?
На Север,
Где небо летит от винта
Серебряной пылью,
На Север, где ждет высота,
Где Чкалов раскинул над полюсом
Красные крылья.
Год тридцать седьмой.
Полночный звонок.
Время требует —
Мера за меру,
А он неподкупен, как совесть,
В бессмертном пути
К Ванкуверу.

Исходит
Слезами бессилья
Людей бесполезное горе.
А он
Развернул свои красные крылья,
Минуя Скалистые горы.

Пусть славу и злобу
В неверной игре
Режет судьба
По единой мерке —
В наушниках Чкалова
Точки — тире
Радиостанций Америки.

В наушниках Чкалова
Голос усталой страны:
«Вперед! Вперед! Вперед!»
В глазах у Чкалова

Тучи видны,
Полярный седой небосвод,
Это возникший
Из клетки белка,
Это огромный,
Как Волга-река,
Человек пробивает
Канадские облака,
Кинув на бешеный ветер
В будущие века
Красные крылья Советов.

Как эта ночь
Светла и горька,
Светла, величава, горька!
Как тянутся розовеющие облака
Нивесть куда,
Нивесть откуда вставая,
Тоненькая луна.
И в воздухе ни одна
Звезда не горит путевая.

Танки гудят...
Куда их путь
Средь утреннего тумана?
Чкалов ложится сейчас
На грудь
Тихого океана.
К Тихому океану,
К острову Буяну,
Где древняя небыль сплетается с былью

И в небе качаются
Красные крылья.
Вперед!
Новый день встает
Над кромкой прибоя
Пенной.
Вперед!
Только подвиг живет
В памяти неизменной.

Вперед!
Только подвиг
Над будничным днем суеты,
Над трагической памятью горького года
Проясняет народа
Властительные черты,
Становится гимном,
Душою народа.

Вперед!
Ты поймешь ли коварство
Тех белых ночей,
И печаль государства
Над гибелью многих —
Как траурный креп
На полотнище
Флага алого?
Если ты не ослеп,
Ты поймешь пять лучей
Той звезды,
Что вела
Чкалова.

ДРУЗЬЯМ ТРИДЦАТОГО ГОДА

Пусть
любая мне радость
приснится,
постигнет любая невзгода, —
Никогда не забуду
друзей и товаров
тридцатого года,
Что, не ведая срока
ни работе,
ни жарким бессонницам,
ни напряженью, —
В каждый день
выходили упрямо,
как ходят в сраженье.
Вы, в холщевых рубахах,
в седых сапогах
из брезента,

Ленинский
 горячий,
 цепкий,
 непреклонный взгляд.
 И с великой верой
 глядя
 Ленину в глаза,
 Шел народ, седой, как море,
 темный, как гроза.
 Шел на подвиг,
 шел на счастье,
 шел путем могил,
 Потому что
 жадно верил,
 до конца любил;
 Потому что,
 если правды
 нету на земле, —
 Смысла нет
 родить, родиться,
 гнить в могильной мгле;
 Потому что,
 если б правда
 умереть могла, —
 Встала б смерть
 стальным прицелом
 на конце ствола;
 Потому что
 все в России,
 что звалось —
 народ,
 Словом Смольного
 сказало:
 «Смерть —
 или вперед!»

КОСТРЫ

Пощади мое сердце	Горячих коней,
И волю мою	Слышу давние песни
Укрепи,	Вовек не утраченных
Потому что	Дней.
Мне снятся костры	Вижу мак-кровянец,
В Запорожской весенней степи.	С Перекопа принесший
Слышу — кони храпят,	Весну,
Слышу — запах	И луну над конями —

Татарскую в небе
Луну,
И одну на рассвете,
Одну,
Как весенняя синь,
Чьи припухшие губы
Горчей,
Чем седая полынь...
Укрепи мою волю
И сердце мое
Не тревожь,
Потому что мне снится
Вечерней зари
Окровавленный нож,
Дрожь степного простора,
Махновских тачанок
Следы
И под конским копытом
Холодная пленка
Воды.
Эти кони истлели,
И сны эти
Очень стары.
Почему же
Мне снова приснились
В степях запорожских
Костры,
Ледяная звезда
И оплывшие стены
Траншей,
Запах соли и йода,
Летающий
С ночных Сивашей?
Будто кони храпят,
Будто легкие тени
Встают,
Будто гимн коммунизма
Охрипшие глотки
Поют.
И плывет у костра,
Бурым бархатом
Грозно горя,
Знамя мертвых солдат,
Утвердивших

Закон Октября.
Это Фрунзе
Вручает его
Позабывшим полкам,
И ветра Черноморья
Плывут
По солдатским щекам.
И от крови погибших,
Как рана, запекся
Закат.
Маки — пламенем алым
До самого моря
Горят.
Унеси мое сердце
В тревожную эту
Страну,
Где на синем просторе
Тебя целовал я
Одну.
Словно тучка пролетная,
Словно степной
Ветерок,
Мира нового молодость —
Мака
Кровавый цветок.
От степей зацветающих
Влажная тянет
Теплынь,
И горчит на губах
Поцелуев
Сухая полынь.
И навстречу кострам,
Поднимаясь
Над будущим днем,
Полыхает восход
Боевым
Темно-алым огнем.
Может быть,
Это старость,
Весна
Запорожских степей забытье?
Нет!
Это сны революции,
Это бессмертье мое.

Живу, люблю,
 умру в ночи
 все так же будет стлать
 Она бесстрастные лучи
 на снежную кровать.
 Свеча в окне Губкома,
 из труб не вьется дым.
 Дорогой незнакомой
 идти нам,
 молодым,
 Идти Россией и Кремлем
 в неслыханный простор,
 Идти полночным патрулем, —
 подсумок, штык, затвор.
 Пойдешь направо —
 там Колчак,
 от крови снег рябит.
 Пойдешь налево —
 там Берлин,
 там Либкнехт Карл убит.
 Убит,
 лежит он на снегу,
 кровь залила усы,
 На мертвой согнутой руке
 спешат, стучат часы.
 Дрожат Истории веса.
 История —
 стара.
 Стучат часы,
 спешат часы.
 Пора, пора, пора!
 Звезда из красной жести,
 дощатый пьедестал.
 Я пять лучей Коммуны
 рукой своей достал.
 Рукой достал,
 потрогал,
 на шапку приколот.
 Глядит товарищ Ленин,
 облокотясь на стол.
 Горит звезда багровая,
 судьбу земли
 тая,
 Жестокая и строгая,
 как молодость моя.
 Идет патруль по городу —
 шаги, шаги, шаги.
 На все четыре стороны
 — враги, враги, враги.
 А ветер жжет колени.
 Звезда горит огнем...
 Мы здесь,
 товарищ Ленин!
 Мы землю повернем!

О ДВУХ ПОЭТАХ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

МИХАИЛ ГЕРАСИМОВ

Впервые мы встретились с Михаилом Прокофьевичем Герасимовым в конце 1918 года. Рабочий-революционер, уже известный пролетарский поэт, творчество которого еще до революции было отмечено А. М. Горьким, он ненадолго приехал в Москву из Самары и пришел к нам в литературную студию Пролеткульта. Студия наша была в то время своеобразным центром для писателей из рабочих и крестьян. Здесь проводились литературные собеседования, встречались и общались многие поэты и прозаики, частыми нашими гостями были Сергей Есенин, Сергей Клычков, Николай Ляшко, Владимир Кириллов, Александр Неверов, А. С. Новиков-Прибой и др. В собеседованиях принимали участие и наши руководители семинаров: Андрей Белый, Вячеслав Иванов, П. Н. Сакулин, А. А. Богданов, В. Лебедев-Полянский.

Рослый и стройный, лет тридцати, рабочий-красногвардеец, в походной шинели и папахе, с лицом суровым и строгим, в загаре, точно отлитым из бронзы, и с очень нежной, застенчивой улыбкой — таким предстал перед нами Михаил Герасимов. Он прочел нам целую тетрадь своих стихов. И тех, которые мы уже знали, и новых, созданных в огне начавшихся боев с белогвардейщиной. Стихи его были о железе, о шахтах, о заводе весеннем, в котором раскрепощенный рабочий кует железные цветы, цветы новой жизни, новой культуры. И в созвучиях строк поэта слышался звон металла и чеканный шаг суровых рабочих колонн, идущих перестраивать мир.

В железе есть стоны,
Кандальные звоны...
В железе есть зовы,
Звеняще-грозовы...
В железе есть сила —
Гигантов взрастила
Заржавленным соком руда.
Железную ратью
Вперед, мои братья,
Под огненным стягом труда!

Жизненный путь Михаила Герасимова — это путь передового русского рабочего, с дет-

ских лет начавшего работать на железной дороге и юношей вступившего в революционное движение.

Родился М. П. Герасимов в 1887 году в семье железнодорожного рабочего в Самарской губернии (ныне Куйбышевская область). Учился в железнодорожном училище. В семнадцать лет он, социал-демократ, большевик, активно участвует в революции 1905 года, состоя в боевой дружине железнодорожников. Затем попадает в тюрьму. В 1907 году эмигрирует за границу, работает в шахтах Бельгии и на доменных печах и металлургических заводах Франции. Призванный во время войны во французскую армию, участвует в сражениях в Шампани и Аргонах, под Реймсом и Суассоном и ведет антивоенную пропаганду среди солдат. Его высылают из Франции в Россию, и здесь он опять подвергается преследованиям и аресту.

С приходом Февральской революции он возглавляет Самарский Совет солдатских депутатов, избирается членом ВЦИК первого созыва. Участвует в руководстве Самарским ревкомом, организует отряды Красной гвардии и, возглавив их, ведет в бой против белогвардейщины атамана Дутова на Оренбургском фронте. И в это же кипучее, боевое время создает свои лучшие стихи.

Вторично мы встретились, сошлись и сдружились на многие годы в начале 1920 года, когда Михаил Герасимов, приехав в Москву, возглавил нашу литературную группу, решившую порвать с Пролеткультом. Он вместе с нами подписывает письмо в «Правду» о выходе из Пролеткульта, и на Всероссийском совещании пролетарских писателей в мае 1920 года избирается председателем первого объединения пролетарских писателей «Кузница».

Михаил Герасимов является одним из зачинателей советской поэзии. По определению Валерия Брюсова, он был «большим писателем в общем смысле слова» и «одним из мастеров свободного стиха». Были у Герасимова заблуждения и ошибки, которые он постепен-

но преодолел, оставшись верным своим индустриальным темам, преданным советскому строю, за который он боролся с оружием в руках как солдат революции. Он был пламенным рабочим поэтом, стихи которого звучат и сейчас, в дни 40-летия великой победы Октября.

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ

Родственный и близкий Михаилу Герасимову по творчеству и биографии, тоже участник трех революций, Владимир Кириллов был поэтом, стихи которого в первые годы Октябрьской революции пользовались широкой известностью.

Вот он, спаситель, земли властелин,
Владыка сил титанических,
В шуме приводов, блеске машин,
Сиянии солнц электрических.
Думали: явится в звездных ризах,
В ореоле божественных тайн,
А он пришел к нам в дымах сизых
С фабрик, заводов, окраин.
Вот он шагает через бездны морей...

В этом стихотворении Владимира Кириллова «Железный мессия», написанном в 1917 году, а также в стихах «Матросам», «25 Октября», «Я подслушал эти песни близких, радостных веков» и других — подлинный пафос пролетарской революции и яркие приметы времени.

Выходец из крестьян бывшей Смоленской губернии, Кириллов с 10 лет работал в сапожной мастерской, а с 14 лет (с 1903 г.) — матросским учеником на пароходах Черноморского торгового флота. За участие в революционном движении моряков в 1905—1906 годах он был арестован и только благодаря своему несовершеннолетию избежал смертной казни. Три года находился он в ссылке, затем эмигрировал в Америку, но через год вернулся. В войну 1914 года был призван в армию. В Февральской революции участвовал, состоя членом полкового комитета, а в Октябрьской — секретарем одного из райкомов в Петрограде. Писать стихи начал, нахо-

Последний сборник произведений поэта был издан в 1936 году.

В 1957 году исполняется 70 лет со дня рождения и 20 лет со дня смерти Михаила Герасимова.

Сборник избранных стихотворений его, надо надеяться, скоро будет издан.

дьясь в ссылке, и еще до революции стал выступать в рабочей печати.

В 1918 году В. Кириллов встретился с В. Маяковским. Вот что он рассказывает об этом в своей автобиографии, написанной в 1932 году: «Весной 1918 г. я в гостях у Маяковского. Маяковский читает мне «Приказ по армии искусства», отбивая такт ногой. Я читаю ему своих «Матросов». Маяковский резко критикует: «Бросьте старую форму, иначе через год не будут читать ваших стихов, вот «Железный мессия» — это хорошо!» И он читает на свой манер строки этого стихотворения».

Кириллов рассказывал нам, что тогда же Маяковский сказал: «Я тоже напишу о матросах». Так возникло и вскоре появилось в печати стихотворение «Левый марш».

Общенье Маяковского с пролетарскими поэтами, выступления с речами на их конференциях говорят о его большой заинтересованности рабочей поэзией. Нам обоим, выступавшим еще в 1919—1920 годах с пропагандой поэзии Маяковского, оказавшей несомненное влияние на развитие пролетарской литературы, представляется нормальным и естественным, что и на Маяковского как-то влияло творчество пролетарских писателей.

Этот вопрос достоин особого внимания исследователей и литературоведов, работающих над созданием истории советской литературы.

Владимир Кириллов, так же как и Михаил Герасимов, был одним из активных деятелей и поэтов на первом этапе объединения пролетарских писателей «Кузница» и принадлежит к числу зачинателей советской литературы.

Сборник его избранных произведений тоже необходимо издать.

*Василий КАЗИН,
Григорий САННИКОВ*

В ТАЙГЕ

Бреду под пихтами и кедрами,
Река рокочет в берегах,
И пряными пахнула недрами
Мне буреломная тайга.
Сверкают белки,
Мглу зеленую
Прошивают сотни ос.
Туман, что девушку влюбленную,
Прижал, как богатырь, утес.
Горячий соболь темным пламенем
Прожег и прострелил кедрач,
На окровавленные камни
Пятнистый выскочил пантач.
Где будит глушь, глухую, грозную,
Веселым говором ручей,
Ты бережешь добро колхозное:
Маралов, ланок, пантачей.
Надежен в сумерки таежные
Приклад берданки у бедра,

Ты ловишь шорохи тревожные
В дыханье кедров, спелых трав.
Я подошел.
Костер пастушеский,
Мне пламенем кивнув, угас.
Но загорелись искры дружески
Ее настороженных глаз.
Ладони, от работы жесткие,
Но к ним я нежность берегу.
И, пенясь, песни комсомольские
От нас расплеснуты в тайгу.
Лишь совы шелестели листьями,
Косматую когтили муть,
Да светляки глазами рысьими
Кустами прожигали тьму.
Вдали, за дымными увалами,
Сквозь нарастающую мглу,
Станок разведочный над скалами
Клевал глухую тишину.

В ЛЕСУ

Тайга седые брови
Нахмурила с тех пор:
Древесной много крови
Пролил стальной топор.
В сверкании морозном
Лесная глубь ясней.
Подрубленные сосны
Со стоном никнут в снег.
В обрывах гривой львиной
Кусты по берегам,
И шерстью там звериной
Косматятся снега.
Железным водопадом,
Сквозь дикий бурелом
Ударная бригада
Проходит напролом.
И бережно, любовно
По хвойной синеве
Таскает трактор бревна,
Как зерна муравей.
Топор взлетает меткий,
Хрустит упрямый сук,

Отрубленные ветки —
Как сотни ржавых рук.
Беспомощные, ловят
Щепу от топора,
И золотою кровью
Разбрызнулась кора.
Оцепенелый ужас
Сковал звенящий лес,
Объят он синей стужей,
До корня дрогнул весь.
А мы гурьбой веселой,
Вдыхая хвойный хмель,
Как трудовые пчелы,
Таскаем кедры, ель.
И мачтовые сосны,
Не грыз чтоб пережной,
Вывозит трактор грозный
Дорогой ледяной.
Весною, волны вспенив
До берегов крутых,
По величавой Лене
Вскользнутся плоты.

1930

*
* *

Бронепоезд качался,
Ветер свистел и дул.
Твой красный платок плескался
Меж пушечных дул,

На тебя,
Как гордое знамя,
Смотрели сотни глаз.
Рвалось над головою

пламя волос,
Звало и бодрило нас...

Когда над конницей белой
Сабли сверкнули остро,
Ты была самой смелой
И самой верной сестрой.

Летел ураган казачий —
Глаза застилала гроза.
— Вперед!
Не поворачивай!.. —
Комиссар полка сказал.

Казалось,
Дрогнут нервы
В храпе
И ржанье конницы.

Ты резко бросилась первой
В самый горячий огонь.

В орудийном пожаре
Обрывались жизнью нити.
— Милый товарищ,
В груди горит..
Дайте испытать!..

Под кожаной курткой бился
Светлый
Сердечный родник.
К тебе, родной
И близкой,
Угасающий взор приник.

Ловила предсмертный трепет,
Глаз последний свет,
Вздых
И последний лепет
В осенней траве.

Только в небе высоком —
Последний привет свысока —
Окровавленный локон
Дрожащая гладит рука.

1922

Владимир КИРИЛЛОВ

ИЗ СТИХОВ О СИБИРИ

Играет песня вьюжная,
Горят снега жемчужные,
Вагон легко качается...
Привет тебе, красавица!
Сибирь, Сибирь, Сибирь, Сибирь...
Какая сказочная ширь!

Твоя судьба ясна мне.
Вот вижу — тешут камни,
Уверенно и ровно

В лесу строгают бревна.
Давно ль тесали головы,
Строгали саблей голого?

Овеяны метелями,
Герои спят под елями,
Звездой пятиконечною
Сияет слава вечная...
Сибирь, я понял твой простор,
Я на тебя взглянул в упор!

1930

НОВЫЙ КАВКАЗ

Голубые горные туманы,
Сон ли это или наяву?
Тополей зеленые фонтаны
Разметали брызги в синеву.

Что звенит там, что поет оттуда
С непомерной, грозной высоты,
Где шагают белые верблюды,
Обнажая снежные хребты?

Вот он, вот, живой и настоящий,
Разноликий, радостный Кавказ!
Молодыми песнями гремящий
И сверлящий чернотой глаз.

Те глаза, что демонов пронзали,
В милых сказках тихо отцвели,
И Тамары — пленницы печали —
Змеевые косы расплели.

И бегут, спешат теперь Тамары
На рабфак, в Советы, в СНХ,

Обжигая солнечным загаром
Без молитвы, но и без греха.

Сокрушает пламенная сила
Сон преданий, суеверий лес,
И Кура седая покатила
Трудовые волны на ЗАГЭС.

И в ночи сверкают по ущельям
Ожерелья музыкой огней, —
Золотое буйное веселье
Над могилой мрака и цепей.

Только ты шагаешь вперевалку
Словно призрак прошлого, муша¹
Не пора ли и тебя в отставку,
Трудовая, добрая душа?

Голубые горные туманы,
Сон ли это или наяву?
Тополей зеленые фонтаны
Разметали брызги в синеву.

¹ *Муша* — крючник, перетаскивавший непомерные тяжести.

МЕТРО

Нога коснулась эскалатора,
Ступеньки тронулись, плывут.
И я въезжаю триумфатором
В подземный мраморный уют.

И мрамор нежно улыбается,
И нет сравнения цветам,
А дверцы сами открываются:
Пожалуйста, войдите к нам!

Струится никель в свете матовом
Молочно-белых фонарей,
Здесь все от лучшего, богатого
Богатой Родины моей.

ПЕТР ОРЕШИН

Советский поэт старшего поколения Петр Васильевич Орешин (1887—1943) начал печататься с 1911 года в «Саратовском вестнике», а несколько позже — в петроградских журналах «Заветы» и «Вестник Европы». Его первая книга «Зарево» вышла в Петрограде в 1918 году. В его ранних стихах деревенские хижины, «злой тоской-соломой крытые», ждут «Стеньку, птицу зоркую, с Волги, из Саратова», и «знамя красное» крестьянского восстания «горит по небосклону», радуя сердце поэта.

Свои революционные взгляды П. В. Орешин обрел на опыте тяжелой трудовой жизни. Его родители, выходцы из беднейших крестьян села Галахово, бывшего Аткарского уезда, Саратовской губернии, работали по найму в Саратове. «За недостатком средств» они взяли сына из последнего класса начальной школы и отдали его «в люди». С пятнадцати лет Петр Васильевич работал приказчиком в купеческой лавке, конторщиком на железной дороге. В поисках случайной работы он долгие годы скитался по городам и селам Поволжья, по Сибири, а в 1913 году добрался до Петрограда, где начало его литературной деятельности было прервано призывом в царскую армию. «Письмо с позиций», «Проклятая война», «Отчего не рыдают камни» и другие антивоенные стихи П. В. Орешин писал в годы подневольной солдатчины на германском фронте. В 1918—1919 годах, работая в редакции московской газеты «Голос трудового крестьянства», поэт выступает со стихотворными призывами «К оружию!», «Вперед!», «Без ца-

ря!», носящими характер поэтических документов революции и гражданской войны. Лирическая поэзия П. В. Орешина глубоко проникнута гражданскими мотивами. Взволнованное чувство патриотизма звучит в его стихах о «величавой и тревожной» русской природе, о внутреннем мире простого труженика любимой земли. Это чувство кровно роднило поэта с теми, кого он называл «сельскими баянами, певцами крестьянской стороны», и прежде всего с замечательным русским поэтом Сергеем Есениным.

Много внимания поэт уделял пропаганде научных сельскохозяйственных знаний. Десятки созданных им иллюстрированных стихотворных плакатов расклеивались в двадцатых годах на стенах изб-читален и первых в стране сельскохозяйственных кооперативов. Колхозной деревне П. В. Орешин посвятил лирические стихотворения, вошедшие в сборники «Вторая трава» (МТП, 1933) и «Под счастливым небом» (Госиздат, М. 1937). Советскими композиторами Д. Васильевым-Буглаем, А. Капальским, Л. Половинкиным и другими написаны песни на слова П. В. Орешина.

П. В. Орешин — автор ряда поэм о революции и гражданской войне, о борьбе с кулачеством и о строительстве советской деревни. В их числе поэмы «9-е января» (1923), «Матрос Иван» (1924), «Деревенская ячейка» (1924), «Селькор Цыганок» (1924), многократно переиздававшиеся при жизни поэта.

Отрывок из последней поэмы Орешина «Чапаев» публикуется в настоящем сборнике впервые.

К. ПЕТРОВ

БУГУРУСЛАН

(Из поэмы «Чапаев»)

Стон стоит в Бугуруслане.
Кровь цветами по земле.
Каждый прапор при нагане,
Князь Голицын — во главе.

Как трава во дни покоса,
Люди гибнут задарма.
Штабы пьяные, доносы
И расстрелы без ума.

И шептались горожане
Под покровом злых ночей:
— Перерезать бы ножами
Этих царских палачей!

Ходит городом тревога,
Говорят: из-за реки
Наступают по дорогам
Красной Армии полки.

Горожане смотрят в дали:
Звезды, степи, гул солдат.
Пушки вдруг загрохотали,
Степи темные гудят.

— То походочка Чапая! —
Говорит мастеровой. —
Слышишь, степь-то как вздыхает,
Слышишь, как шумит травой?

— Дай-то бог! — ворчал в сарае
Недовольный бабий бас. —
Сколько ждали мы Чапая...
-Может быть, на этот раз...

И растерянно звонили
По церквам колокола.
И летали кони в мыле,
И весна уж не цвела.

Всё расстрелы да расстрелы,
Вспух над городом острог.
Сам Чапаев гонит белых
По заречью на восток.

Бой идет. В полях зарницы
И луна — червонный щит.
Ходят слухи: князь Голицын
Опрокинут и разбит!

Не осталось ни солдата —
Степь да синь, да ковыли.
На степных коврах лохматых
Те солдаты полегли.

Почему же нет Чапая?
Ждет его Бугуруслан.
Распахнись ты, ширь степная,
Поднимись, седой туман!

— Может быть, Чапая смяли? —
Говорит мастеровой.
И молчит жена в печали,
С непокрытой головой.

Слышно: белые отходят
И обстреляна тюрьма,
И коней с собой уведят
На подножные корма.

А на утро степью синей
На коне скакал Чапай,
И неслось по всей равнине:
— Эй, впере-е-ед! Не отста-авай!

И над степью, над зеленой,
Над восторгом горожан
Кумачовые знамена
Развернул Бугуруслан!

1936

БОЕЦ РЕВОЛЮЦИИ

Если человек прожил на свете неполных 20 лет, а его и через 36 лет после смерти помнят и уважают, — успел, видимо, сделать он что-то значительное.

Герасим Фейгин по праву завоевал такое признание. Несколько поколений советской молодежи знают его, как одного из первых и энергичнейших активистов комсомола, юного комиссара полка в 1919—1920 годах, смелого бойца революции, героически погибшего на кронштадтском льду в марте 1921 года.

Поэтический дар Фейгина проявился в отрочестве. Едкими стихами, которые ходили среди гимназистов, он, не боясь сурового начальства, высмеивал нравы мещанского Покрова, Владимирской губернии. В августе 1915 года Герасим (он родился 13 декабря 1901 года) написал поэму «Беженцы», далеко еще не совершенную. Но в ней было четко выраженное отношение к описываемым событиям. Юный поэт рассказывал о тяжелой крестьянской судьбе. Герой поэмы Степан, беднейший на селе, получил известие о гибели сына на фронте.

Когда печальное посланье
Лениво писарь дочитал,
Степан снял шапку на прощанье,
Письмо в руках неловко смял.
...Тоской и горем подавленный
Мужик не мог, не смел рыдать.
Есть долг, «судьбою нареченный», —
Его он должен исполнять.
Всегда есть мужику работа,
Он в поте должен хлеб добыть,
Когда же кончатся хлопоты,
Идет он подать уплатить.

С удивительной для подростка зрелостью Герасим писал о народных страданиях, вызванных империалистической войной. И это было в ту пору, когда вокруг распространялся густой угар шовинизма!

В печати стихи Фейгина впервые (по обнаруженным пока данным) появились 7 марта 1917 года. Тогда единственной доступной ему трибуной был «Старый владимирец» — газета либерально-буржуазного толка. В ней и напечатано стихотворение, написанное на второй день после свержения самодержавия.

Настала година желанной свободы...
Терпенье иссякло, и вспыхнул пожар
И быстро рассеял тяжелый кошмар,
Россию терзающий долгие годы.
Минули страданья, минули невзгоды...
Прекрасен и мощен народный удар!

В таком пафосном духе выдержано все это произведение, под которым подпись сопровождалась припиской: «Ученик 4-го класса Покровской гимназии».

Было бы неверным представлять Герасима, воспитывавшегося в интеллигентной семье, уже в таком возрасте определившимся пролетарским революционером (как делают некоторые авторы). Только после Октябрьского переворота он понял, в чьих рядах он должен бороться за «желанную свободу». Понял — и в ноябре 1917 года вступил в партию коммунистов.

Пылкий юноша, полный желания бороться за новую жизнь, активный по своей природе, в скорости стал вожаком молодежи. При этом в нем не угасал поэт. Он знал силу слова, был замечательным оратором, часто выступал на молодежных собраниях и митингах. Но с еще большей энергией и охотой работал он в юношеской печати.

В мае 1918 года во Владимире вышел новый журнал «Вестник Интернационала» — орган комитета союза молодежи «III Интернационал». И уже для второго номера Герасим шлет в редакцию из Покрова свои стихи.

У себя в уездном городке Фейгин и его товарищи образовали «Летний комитет учащихся Покровской первой единой трудовой школы-коммуны II ступени». Комитет стал издавать печатный журнал «Юность». Удалось разыскать, к сожалению, только № 3 этого журнала, вышедший не ранее октября 1918 года. Там напечатаны пять стихотворений Фейгина и первая часть большой поэмы «Гимназист». Поэма дает образное представление о среде, в которой учился и воспитывался Герасим. Вторую часть под названием «Революция» обещали напечатать в следующем номере.

16 июня 1919 года Фейгина избрали во Владимирский губком РКСМ. На заседании губкома 26 июня было решено издавать свою

газету; первый номер ее вышел фактически 30-го числа, хотя под заголовком значилась дата 1 июля. Газета называлась «Красная молодежь», и одноименное стихотворение Фейгина было опубликовано в № 1. Потом, переложенные на музыку Д. С. Васильевым-Буглаем, стихи эти стали популярной комсомольской песней. В следующих номерах газеты было напечатано несколько статей Фейгина. Перечитывая их, убеждаешься в том, что Герасим был незаурядным публицистом.

В 1920 году, после III съезда РКСМ, Герасим Фейгин был избран секретарем Иваново-Вознесенского губкома комсомола. Одной из первых забот его было создание молодежной газеты. Он редактировал «Юный текстильщик», писал для него статьи, часто остро полемические. Проводил ночи в типографии, сам разносил пачки с готовым тиражом, потому что не было транспорта...

В последний год-полтора Герасим почти не писал стихов. Во всяком случае, он не показывал их товарищам и не публиковал, считая, что пишет недостаточно зрело.

После геройской гибели Герасима Фейгина ЦК комсомола на заседании от 25 марта 1921 года постановил издать его произведения. Тоненькая книжечка стихов вышла через несколько месяцев двумя изданиями — в Москве и Владимире. Теперь она стала библиографической редкостью.

Мы чтим память одного из многочисленных строителей новой жизни. Образ юного бойца и поэта не перестает волновать советскую молодежь, видящую в Герасиме Фейгине пример одухотворенного, страстного служения нашей партии и народу.

А стихи его живут и будут жить, воскрешая те бурные, героические годы, когда боролся за коммунизм и творил Герасим Фейгин.

Михаил ЖОХОВ.

Герасим ФЕЙГИН

ДОВОЛЬНО ЖДАТЬ

Довольно ждать и лицемерить,
С тупой покорностью скорбя;
Довольно плакать и не верить
В народ, в свободу и в себя!
Ужель не хватит смелой воли
Отбросить с плеч кровавый гнет?
Ужель из тьмы одной неволи
Народ в другую попадет?

Очнись от едкого дурмана,
К борьбе, трудящийся народ!
Судьбина поздно или рано
Твой сон бесстрастно перервет.
Прозри, очнись! Отбрось победно
Тяжелый, беспросветный гнет,
И вновь дорогой заповедной
Иди вперед!

7 апреля 1917

КРАСНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Мы пойдем без страха, мы пойдем без дрожи,
Мы пойдем навстречу грозному врагу,
Дело угнетенных — дело молодежи,
Горе, кто на чуждом, черном берегу!

Мы собьем запоры, мы сметем преграды,
Все мы вдохновились красною борьбой...

Жизнь на баррикады! Смерть на баррикады!
Все на баррикады! Все в последний бой!

Смерть в жестокой битве ярче и моложе
Тусклого бессилья жалких стариков.
Шире же дорогу Красной Молодежи
К счастью без запоров, к жизни без оков!

12 сентября 1918

СЛОВО О ЗЕМЛЯКЕ И ДРУГЕ

(Памяти Михаила Голодного)

— Непременно навестим летом наш город! — любил говорить Михаил Семенович, картавя и нараспев. Черные глаза его при этом лучились добрым светом. — Ведь там по бульварам и теперь еще бродит наша юность...

И каждый раз мы с пылом вспоминали зеленый город юности, взбежавший два века назад на приднепровскую кручу: семиверстный проспект, о котором жители говорят: «Пойди — поищи такой в Европе!», широчайшие бульвары, буйное цветенье акаций, каменных скифских баб, толпящихся у областного исторического музея; все эти Грошевые и Ломанные, Железные и Упорные улицы Днепропетровска — не только города чугуна и стали, но и города поэтов, где делали «первые шаги» М. Светлов, П. Маркиш, С. Галкин, А. Ясный, Дм. Кедрин. И, конечно, вспоминали «горбатую» Александровскую (ныне Артемовскую) улицу, давшую название единственному прозаическому произведению Голодного — рассказу «Васька с Александровской улицы», теперь уже основательно забытому всеми; улицу, столько раз встречающуюся в стихах и песнях поэта («Мы по улице шагаем Александровскую вниз»). В устье ее стоял полутораэтажный домик № 42, известный всем городским сочинителям по лихим стихам их земляка:

И могу я на улечку выйти,
По-разбойному крикнуть «го-го!»
Вот он — дворик, где я знаменитей,
Чем во Франции Виктор Гюго.

Днепропетровск — город старинных революционных традиций, город одного из замечательных учеников В. И. Ленина — И. В. Бабушкина, бежавшего из местной тюрьмы, город, закаленный в горниле подпольной борьбы, овеванный грозными ветрами гражданских бурь. Это в нем впервые раздались звонкие голоса первых комсомольских поэтов.

Михаил Голодный родился в тихом Бахмуте, но родным городом он всегда считал Днепропетровск (Екатеринослав), куда вскоре переехала его семья. Двенадцати лет от роду начал он здесь свою трудовую жизнь — сна-

чала штамповщиком на фабрике, затем упаковщиком на мануфактурном складе.

От пыльных лабазов, тесноты кривых улочек и тошнотворной герани на окнах его спас освежающий ветер революции. Жизнь обернулась иной, светлой стороной. Поднялись рабочие Брянского завода, обитатели Чечелевки, Диёвки, Сухачёвки («На Диёвке-Сухачёвке наш отряд»), возникли митинги в городских парках, зазвенели на улицах старого купеческого города первые пролетарские песни.

Это легендарное время оставило неизгладимый след в душе впечатлительного паренька. Он словно был насыщен грозowymi зарядами событий. Он нашел свое место среди красногвардейцев, засевших в губернаторском особняке графа Келлера и обстреливавших здание почтамта, откуда яростно огрызались гайдамацкие молодчики в черных бараньих папах. Вероятно, с той поры Михаил любил простую, военного образца, гимнастерку, сапоги, кожанку, с которыми неохотно расставался. А свой юношеский портрет в смужковой шапке, украсивший спустя много лет его скромный кабинет, предпочитал всем другим...

Мое знакомство с поэзией Голодного произошло задолго до личного знакомства, состоявшегося в начале тридцатых годов, во время одного из его приездов в родные места.

Тоненькую брошюрку с необычным названием «Сваи», отпечатанную на газетной бумаге харьковским издательством ЦК комсомола в 1922 году, я отыскал среди нарядных сборничков изысканного Теофиля Готье в переводе Н. Гумилева, экзотической поэмы последнего — «Мик», иммажинистских, кубо- и эгофутуристических изданий. На обложке цена отсутствовала, а на заглавной странице бросалось в глаза посвящение, значение которого раскрылось мне впоследствии: «Первую книгу моих стихов — моей Екатеринославской организации К. С. М. — М. Голодный».

Стихи не были похожи на все, известное прежде. Они не напоминали ни модного еще в некоторых кругах интеллигенции Апухтина,

ни издерганного и злобного Сашу Черного, ни молитвенный экстаз Вячеслава Иванова. Названия стихов сами говорили за себя: «Город Коммуны», «Пролетарий», «Октябрь», «Паровоз» (ритмы кочегара). Стихов в брошюрке было с полтора десятка. Неизвестный поэт упоенно писал о «горячем дожде стихов», о «поэм пурговом звоне», о «певучем серпе», прибитом в соседстве с молотом к «лунному черепу», о голодающем Поволжье, о душах, которые «не знают с дрожью». Это были неумелые стихи с преобладанием образов и сравнений космического масштаба, с условными созвучиями, заменившими привычную точную рифму. Но привлекали они неугасимым задором, полетом мечты, страстностью строителей нового мира.

Я такой же поэт рабочий,
Как многие сотни других.

Шли годы, оттачивалось мастерство поэта, видение его становилось зорче, лирика — «весомей, грубей, зримей», декларативность сменялась философскими суждениями. Но живой воздух романтики не покидал его. Это была романтика борьбы за прекрасное будущее, родившаяся в единоборстве с врагами молодой народной власти, со всякими белогвардейцами, батьками Махно, атаманами Зелеными, Ангелами, Совами, в неистребимой ненависти к малодушию, ханжеству, обывательскому ничтожеству. Все это нашло отображение в книгах представителя поколения «комсомольцев, чекистов, большевиков», в таких балладах и песнях, как «Судья Горба», «Партизан Грач и его адъютант», и во многом другом.

Несправедливо утверждение отдельных литераторов, что Голодный выразителен и силен лишь в стихах, посвященных первым годам революции, гражданской войне. Вспомним страстное «Слово о Васенко, Усыскине и Федосеенко». А его публицистическая лирика, его, написанная как бы одним дыханием, яркая книга «Слово пристрастных!» В Голодном удивительно сочетались юношеская робость и накал гражданских чувств, нежность души и жгучая сила обличения зла и несправедливости, милые чудачества и набатный голос трибуна.

Поэт — не ярмарка.
Пока живешь ты — думай!
Смешно, когда удар
Встречает пустоту.

Помню, незадолго до второй мировой войны, когда закованный в сталь фашизм уже

топтал дороги Европы, Михаил читал замечательное по силе предвидения новое стихотворение «Волки».

Ночь. Вьюга. Издалека доносится волчий вой. В доме бодрствует человек. В соседстве с ним «спят гении на книжной полке», его учителя. Человек берет с полки дорогую ему книгу, но вой все приближается. Он мешает человеку, «волчья стая» скребется у самых дверей, она врывается в жизнь из чужой, неведомой, сумрачной дали. И тогда мирный человек внезапно преображается. Он откладывает в сторону книгу, встает в полный рост, из его груди вырываются полные достоинства, раскаленные чувством слова:

И вихрем в комнату влетая,
Заносит книги мокрый снег.
Скребется в двери волчья стая...
Я взял ружье: я — человек!

Михаил Голодный поднял горящие глаза и неуверенно произнес обычное: «Ну как, ничего?..» А потом застенчиво улыбнулся и вдруг совсем по-ребячьи ухватил меня за рукав: «Пошли на крышу! Хочется неба... Запустим змея на зло «волкам»...»

Это было его любимой утехой: запускать воздушного змея. Он был отменным умельцем этого веселого дела, искусно мастерил змеев всевозможных образцов, прилаживал к ним трещотки. За этим занятием он преобразался в парнишку с Александровской улицы, от кажущейся его медлительности не оставалось и следа: с шуршащим под рукой змеем он одним махом взбирался на чердак многоэтажного дома, что в Замоскворечье. Там он, затаив дыханье, как в далекие годы детства, следил за плавным взлетом своего летучего посланца, который долго и торжественно парил в просторе московского неба. Михаил неподдельно радовался своей затее и поминутно требовал, чтобы и его спутник не оставался равнодушным. Он вообще не выносил равнодушных людей, относился к ним с недоверием и не скрывал этого:

Долой равнодушных —
Они с каждым часом
опасней...

Если прежде поэзии Голодного подчас недоставало точности и яркости изобразительных средств, то в последние годы своей нелепо оборвавшейся жизни поэт создает ряд мастерски написанных произведений. Многие из них, созданные в годы великих испытаний («Урал», «Ода ненависти», «Две матери»), стали хрестоматийными. Приверженность к

гражданской лирике в нем не померкла с годами. Узнав из газет об очередном преступлении куклуксклановцев, Михаил долго ходил сам не свой и не успокоился, пока не написал стихи «Суд Линча».

...Пусть просит кузнецик у неба ответа,
У кедра высокого — ветер осенний,
А я, опираясь на право поэта,
У Белого Дома прошу объяснений!..

...Однажды Голодный притащил домой большой, нарядный том. Это был сборник русских народных песен.

— Смотри, — указал он на раскрытую страницу, — они дали «Партизана Железняка». Песня моя, а вот фамилию указать позабыли...

Так к поэту пришла высшая награда — песня полюбилась народу, стала безымянной.

Однажды Михаил предложил пойти побродить по городу, как обычно. Он очень любил эти прогулки с товарищами, любил заходить в парки, в писательскую книжную лавку и вспоминать, вспоминать молодость.

В этот день, когда мы очутились на Сре-тенке, у витрины комиссионного магазина, он внезапно ошарашил меня странным вопросом:

— Ты пьешь чай?

— Пью, конечно, — недоуменно ответил я.

— А часто? — упорно допытывался он.

— Раза два на дню, — пожал я плечами.

В магазине, пока я рассматривал выставленные на продажу картины, Михаил о чем-то деятельно совещался с продавщицей. Когда спустя несколько минут я подошел к ним, он застенчиво протянул мне затейливый подстаканник:

— Ну вот, теперь придется тебе... хочешь не хочешь, утром и вечером вспоминать своего земляка... Не возражаешь?..

Этот подстаканник, письма, фотографии, трубку, привезенную из Австрии, я свято хранил и поныне. Но чаще всего вспоминаю я милого земляка и друга, когда перечитываю его молодые стихи, полные высокой революционной романтики и несокрушимой веры в близкое торжество справедливости на земле.

М. ШЕХТЕР

Михаил ГОЛОДНЫЙ

2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА

Величье Родины — для воина награда
За все, что вынесла в огне его душа!
Когда услышит внук, волнуясь, не дыша,
Как встали мы за честь и славу Сталинграда,
Что смерть сама нам не была преградой, —

Он взглянет вдруг на деда с удивленьем,
И, взгляд перехватив, глаза потупит дед:
Такой во взгляде внука будет свет,
Такая сила, зависть и смятенье,
И гордость, для которой смерти нет!

Февраль 1944

*

* *

Мы входим в город неизвестный,
Дымят руины при луне.
И в бледном свете вид окрестный
Другую ночь напомнил мне.

Ту ночь свиданья в роще лунной,
Когда мальчишкой в первый раз

Я стал дышать улыбкой юной
И грустным небом светлых глаз.

Как смутный сон — воспоминанье!
Плывут года в потоке дней.
А ты, как лунное сиянье:
Не жжешь, а мучаешь сильней.

1947

ЭЗРА ФИНИНБЕРГ

(1899—1946)

Еврейский советский поэт Эзра Иосифович Фининберг начал свой творческий путь почти одновременно с поэтами Д. Гофштейном, О. Шварцманом, П. Маркишем, Л. Квитко. Начало его творчества неразрывно связано с Октябрьской социалистической революцией.

В 1928 году выходит его сборник стихотворений «Страна и любовь». Эта книга проникнута глубоким патриотизмом и гуманизмом.

Э. Фининберг по преимуществу лирик. Лирической чистоты исполнены его сборники стихов: «Весной» (1929), «Бои продолжают» (1930), «XV» (1932), «С песней» (1937), «Истории» (1939); его поэмы: «1905 год», «Телеграммы», «У Днепра», «Ошер Шварцман», «Щорс», «Испания», «В лесу», «Земля иная».

В 1941 году Фининберг добровольно уходит на фронт. В том же году участвует в наступательных боях под Москвой. Будучи тяжело ранен, он в 1943 году возвращается к писательской работе. О Великой Отечественной войне им написаны три книги, из которых опубликованы пока только две («С поля боя»,

«В страшном огне»). В последние годы он много работал над пьесой о Ленине («Начало»), которую ему не удалось закончить.

Его переводы из русской и мировой поэзии («Фауст» Гёте, «Медный всадник», глава из «Евгения Онегина» Пушкина, глава из «Витязя в тигровой шкуре» Руставели, переводы Шевченко, Ивана Франко и др.) отличаются большой переводческой культурой. Он также написал ряд статей и исследований о еврейской и мировой поэзии, в частности о переводимых им же поэтах. Язык Фининберга по-народному сочен и богат, стих его музыкален и тщательно отделан.

Сборник избранных произведений Фининберга в русском переводе выпущен издательством «Советский писатель» в 1957 году.

Эзра Фининберг родился в 1899 году на Украине в городе Умани и умер 23 ноября 1946 года в Москве, после тяжелой болезни, явившейся следствием фронтовых испытаний.

Стихи поэта-патриота живут и пользуются любовью читателей.

И. СЕРЕБРЯНЫЙ

Эзра ФИНИНБЕРГ

МАТРОС

Спросите его: где родился и рос
Балтийского флота веселый матрос?

Его бескозырка и лента не в счет,
Там только два слова: «Балтийский флот».

О детстве не скажет и сам ничего.
Он едет в Кронштадт, там, где судно его.

И денно и ночью плетется «Максим».
Мы песни морские вдвоем голосим.

С полей потемневших запахло снежком,
А мы запеваем с балтийским дружкойм.

Полей потемневших пугая покой,
Он песни морские поет день-деньской.

Кричит он просторам, полям, поездам:
— Земля, я разрушу тебя и создам!..

Еще до Москвы много дней, много верст.
О многом еще мне расскажет матрос.

Порою поникнет его голова:
— Лежит на замерзших полях братва.

Как выстрел послала «Аврора» с Невы,
Земля содрогнулась от шага братвы.

В речах его дышит морская душа,
В них слышится яростный шум Сиваша,

В них слышатся залпы и шелест знамен:
— Даешь Сибирь! Даешь Дон!

Хоть жизнь положи, хоть из кожи лезь,
Но будет свободным народ наш весь!

И веет от речи соленой, простой
Морской глубиной и морской широтой.

ЕДИНСТВЕННАЯ, ДОРОГАЯ...

Всё залито кровью — и нивы, что смяты,
И камни, и солнце, сады и солдаты...
Я ранен — дышу еще. Видишь меня ты,
Единственная, дорогая?

Глядишь ты, от горести изнемогая,
Глаза говорят: «Поседела, стара я».
Целую глаза твои: — Нет, дорогая,
Единственная, дорогая.

Любовь моя силы полна и терпенье.
Я гневный, в кровавых бинтах, как виденье,
Поднялся из ямы на поле сраженья,
Единственная, дорогая.

О, чудо! Ни пуля не умертвила,
Ни вражеский меч, хотя сталь и пронзила.
Нес ветер мой зов к тебе: — Ты — моя сила,
Единственная, дорогая!

О, чудо! Знать, был мой хранитель
на страже —
Полярный мороз не сковал меня даже,
В снегах не уснул — нáзло помыслам
вражьим,
Единственная, дорогая.

Ты стала дорожке, любовь — моя сила...
Ведь я из гигантского вынут горнила
В подарок тебе, моей преданной, милой,
Единственная, дорогая.

Народ наш в домах местечковых сжигают,
И душат, и в ямы собачьи бросают.
И пламя пожара тебя обвивает,
Единственная, дорогая.

Да, душат наш мир — петлею, и жаждой;
В опасности мир наш, он в пламени страждет,
И с гневом, и с горем приходит день каждый,
Единственная, дорогая.

Солдаты встают над полями родными,
Сраженных в бою заменяют другими,
Я с ними в гигантском горниле, я с ними,
Единственная, дорогая.

И, может, сейчас среди ада сраженья
Ты встретила, радость, меня на мгновенье,
Вновь завтра мне в бой, — то души повеленье,
Единственная, дорогая.

Ты видишь? Мы оба с тобой похудели;
Но мы не согнулись, мы не постарели,
И сердце поэта стучит под шинелью:
Единственная, дорогая!

А мы сочетались, обряды минуя,
Чтоб солнечно жить, верить в участь иную...
И вот среди битвы тебя я целую,
Единственная, дорогая.

Меч вражий людей истребил миллионы,
И кровь заливает детей и газоны.
Я ранен — дышу еще, слышишь, —
ни стопа,
Единственная, дорогая.

Но мы не прибиты, не сломят нас беды,
Пройдем все, судьбы нашей бремя изведем.
Должны мы дожить... Доживем до победы,
Единственная, дорогая.

1942

Перевел с еврейского
Сергей Поделков

ПАВЕЛ ШУБИН

Талантливый советский поэт Павел Николаевич Шубин родился в 1914 году в селе Чернавск, Орловской области, в рабочей семье. Несколько лет он работал слесарем на одном из ленинградских заводов.

В 1930 году в печати появились первые стихи Павла Шубина, сразу обратившие на себя внимание читателей и критики. Окончив филологический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена, Шубин целиком отдается литературной деятельностью.

В стихах Шубина проникновенный и тонкий лиризм гармонически сочетается с высокой гражданственностью, тема любви к родной земле, к русской природе — с героической темой защиты Родины. Ранние стихи и поэмы Шубина овеяны романтикой гражданской войны. Это страстный рассказ о подвигах отцов, делавших и защищавших революцию.

Восемнадцатый год
Хутора и станицы
Кутал гарью,
На порох и пламя богат.

Полыхали пожары,
Как крылья жар-птицы,
И над ними гудел
Отдаленный набат...

Котовский и Фабрициус, легендарные полководцы и безвестные герои-партизаны живут в стихах Шубина, являя молодежи пример мужества и революционного долга.

В годы Великой Отечественной войны Павел Шубин — офицер Советской Армии, участник боев на Карельском и Волховском фронтах — воспевает доблесть своего поколения.

Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,

Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить...
Мне б только,
Вот эту гранату
Мгновенно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,

Чтоб стало в нем пусто и тихо,
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

Солдаты Волхова помнят суровую песню Волховского фронта, сочиненную Шубиным, помнят его чудесную песню о Ленинграде — «Ленинград мой, милый брат мой, родина моя...»

Шубину принадлежат сборники стихов «Ветер в лицо», «Парус», «Моя звезда», «Солдаты», «Герои нашего фронта», «Дороги, годы, города», две книги избранных стихотворений.

Павел Шубин безвременно скончался в 1951 году, но его сильный и чистый голос продолжает звучать в советской поэзии.

Вл. ЛИФШИЦ

Павел ШУБИН

ИЗ ФРОНТОВОЙ ТЕТРАДИ

ОПОЛЧЕНЦЫ

Кто там в рядах? — Спецовка,
Кепка да пиджачок,
Но на ходу винтовка
Словно выросла в плечо;

Словно никто доселе
С грозных Октябрьских дней

Даже в своей постели
Не расставался с ней!

Сивая встала старость
С юностью — без усов,
Их побратала ярость
Против фашистских псов.

Плеч своих не сутуля,
С Армией Красной в ряд
Вместе пойдет под пули
Штатских бойцов отряд.

Весь Ленинград за ними,
Ротам потерян счет,

Улицами прямыми
Словно река течет.

...Нарвцев прошли колонны,
Снова штыки видны:
Двинулись батальоны
Выборгской стороны.

Сентябрь 1941

*

* *

Я не предмет воспоминаний,
Я — плоть и кровь, я — наяву,
Я исполнением желаний,
А не желаньями живу.

МАЙ 1942 ГОДА

Умыта зарей мостовая
И ветром просушена дольним;
У набережной Рошалья
Сиренева сталь крейсеров.
И снова шелка Первомая
Над грозной Невою, над Смольным,
И снежной черемухи шали —
В сквозной синеве Островов.

Прибой ударяет усатый
В подножие мраморных лестниц,
И пушки, крихтя от надсады,
Везет батальон тягачей...
И так наступает десятый
Огнем завоеванный месяц
Жестокой фашистской осады,
И воли, и белых ночей.

Свобода!
Могучие люди
Шли на смерть, тебя сберегая,
Пожаров косматые гривы
Смыкались над ними, хрипя,
Но смерч дальнобойных орудий,
Но голода петля тугая,
Но бомб электронных разрывы
Убить не сумели тебя!

И транспортные самолеты
Врезались в метельное небо,

И в стужу, любовью согреты,
По топям лесов волховских
Вели партизаны подводы
Ржаного, мужицкого хлеба,
Вплетаясь легендой в легенды
Защитников стен городских...

Ведь будет же время такое,
Когда отгремит канонада,
В шиповнике на Петроградской
Опять запоют соловьи,
И свет заревого покоя
Прольется от Летнего сада
До гулкового ринга Сенатской
Мерцанием винной струи.
Тогда, по-особому счастлив,
Пускай наш наследник припомнит
Сегодняшний день Первомая,
И ярость продольных атак,
И бомбы, которые гасли
Средь детских разрушенных комнат,
И флаг, что шумел, овеявая
Разбитый снарядом чердак.
Под этой вечерней звездой,
Под небом, таким же безмерным,
Где нашему детству смеяться
И нашим знаменам гореть,
Отвагой своей молодою
И сердцем, бесстрашным и верным,
Встречали отцы-ленинградцы
Над жизнью не властную смерть!

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХИ ВАДИМА СТРЕЛЬЧЕНКО

Он был поэтом. Не просто потому, что писал стихи. Стихи писать сравнительно легко, это доступно каждому грамотному человеку. Поэтом же быть трудно. Напомню Белинского: «...Трудно быть поэтом, — так же трудно, как легко писать стихи!» Стихи, написанные не поэтами, похожи друг на друга, как вещи, сделанные по одному трафарету. Они безлики, водянисты. Поэтов же нельзя спутать, их узнаешь по строке, по эпитету, глаголу, ритму и рифме. У них свое видение мира, своя тема, интонация, по-своему сказанное слово. На всем — печать их поэтической личности. Их стихи самобытны.

Творческая биография Вадима Стрельченко начинается с 1929 года, когда в одесском тонком журнале «Шквал» появилось его первое стихотворение «В кузнице». Редакция сопроводила его примечанием: автор — ученик профшколы «Металл», ему 16 лет. Почти одновременно в другом одесском журнале, «Прибой», увидело свет второе стихотворение поэта, а за ним, в газете «Вечерние известия», третье стихотворение.

Эти первые стихи рабочего-подростка сразу же обратили на себя внимание не только свежестью и точностью отдельных образов («По-птичьи вскрикнув — нараспев — задвигались меха»; «Вспорхнул жар-птицею огонь в большом гнезде угля»), но, что весьма важно, общей идеей, пафосом жизнеутверждения. В его вертящемся «живым волчком» до «изумленья юном порту» нет места усталости. Сердце работает в ритм с лебедками. Натруженные руки и плечи жаждут груза — они ждут, «пока мешок не вздулся от струи пшеницы». Он писал: «Руки радостные труд торжественно несут» «...Почуешь, песнею какой большою труд поет». В «радостном азарте» кузнечного труда, в «намекке прекрасных форм», рождаю-

щихся из железа, начинающий поэт усматривал пример для своей собственной работы.

Хочу, чтоб был и у меня
Мехов певучий спор.
Хочу жар-пламя перенять
И эту точность форм!

В труде, в обыденной и прозаической, казалось бы, человеческой деятельности он находил поэзию и поэзию возвышал трудом.

Уже в этих первых юношеских произведениях Стрельченко ярко обнаружил именно то, что стало затем характерными чертами его творчества, что сделало его поэтом. Видны корни. С годами они разрослись, окрепли.

Тот, кто хоть однажды прочел его стихи, запомнил их надолго. Его голос не терялся в общем многоголосом поэтическом хоре. Стрельченко оставил свой след в поэзии и, разумеется, в жизни, которую не мыслил себе без поэзии.

Но жил Стрельченко, как известно, недолго. Он погиб на фронте в 1942 году, будучи командиром отделения пехоты, когда ему исполнилось только двадцать девять лет. При его жизни вышли лишь две небольшие книги: «Стихи товарища» (1937) и «Моя фотография» (1941). Только сейчас Гослитиздат выпускает его «Избранное».

В черновой тетради поэта обнаружен «примерный план» новой книги. Там названы десятки неизвестных нам стихотворений. Многие их рукописи погибли во время войны. Здесь же читатель найдет четыре сохранившихся стихотворения Стрельченко: «Грузчик», «Калильщик», «Ливень» и «Сердце Котовского», которые должны были войти в подготовляемую им книгу. Они, несомненно, обогатят наше представление о безвременно погибшем талантливом поэте и укрепят нашу память о нем.

Семен ТРЕГУБ

ЛИВЕНЬ

Снова зеленые всходы
Над прошлогодней листвою.
В пыль измельченные воды
Тучей несет над Москвой.

Смолкнуло, заблестело...
Что это — солнце взошло?
(Грянуло, потемнело...)
Нет, полило, полило.

Струи! Они исчезают...
Где они, струи? Смотри:
Вот уж они распрямляют
Почки берез изнутри,

Чтобы росла и гудела
Каждой травинкой земля.

Хочется важного дела.
Это не нужно,
А я, —
Краны наполнены, знаю,
Водопроводной водой, —
Все же ведро выставляю
Под водосточной трубой.

Все, что не врыто, не вбито,
Все, что корней лишено, —
Будет размыто и смыто,
Ливнем унесено.

СЕРДЦЕ КОТОВСКОГО

В Одессе, в музее, хранится сердце Котовского.

1

Среди балюстрад и колонн
В музее, в глубоком покое,
Меж сабель, гранат и знамен
Поставлено сердце людское.
Спи, сердце!..
Но спи не в земле,
Где тело героя зарыто, —
В спирту и в прозрачном стекле,
Спи, сердце, светло и открыто!

Живучею кровью своей
Ты руки и мозг омывало
И равное место сыскало
В кругу боевого металла
Кольчуг и штыков и мечей.

Котовский.
Опять о войне —
Разносятся крики в эфире.
Будь с нами,
Когда в тишине
Построимся в ряд по четыре.
Котовский!

2

...Но нет: сквозь пласты
Земли, что могилой осела,
Не выступят контуры тела,
Лица не проступят черты.

Котовского нету. Давно
Распалися мускулы тела
И клетка грудная истлела.
Но сердце — осталось оно.
О сердце за светлым стеклом!
Мы живы и знаем поныне,
Что действовать острым штыком,
Владеть и конем и клинком
Судьба поручила мужчине.

Изогнутый по краям
Знак свастики тянется к нам
Змеей, ядовитой змеею,
Разрубленную пополам...
Живые, готовьтесь к бою!

3

Спи, сердце. Я тихо стою.
Что делается со мною?
Я слез по убитым не лью,
Не вылечить мертвых слезою.

О, даже и женщина, мать,
Еще никогда не сумела
Сыновнему мертвому телу
Вторичную жизнь даровать...
Все это могу я понять.
Но чудится дивное дело:

Когда и осколки гранат,
И танки, и песни солдат
Вдруг станут виденьем былого,
Когда на земле победят
Работники шара земного
И весть о победе пройдет
По шумным одесским кварталам,

Спирт в банке окрасится алым
И сердце бойца оживет!

1941

СОДЕРЖАНИЕ

I

<p>Н. АСЕЕВ Счастье 7</p> <p>П. АНТОКОЛЬСКИЙ Октябрьский вихорь 8</p> <p>П. АРСКИЙ Мой друг 9</p> <p>Б. АХМАДУЛИНА Цветы 9</p> <p>В. АЗАРОВ С добрым счастьем! 10</p> <p>Э. АСАДОВ Баллада о буланом «пенсионере» 11</p> <p>А. БАРТО <i>Из путевых тетрадей</i> По дорожке, по бульвару 12 Преступный Адам 12</p> <p>И. БАУКОВ Детство 13</p> <p>А. БЕЗЫМЕНСКИЙ Танк № 207 13</p> <p>Я. БЕЛИНСКИЙ Кто сильнее 14</p> <p>Ф. БЕЛКИН Дуб 14 Гусак 14</p> <p>В. БЕРШАДСКИЙ Ребенок 15 Дождь 15 Цветы 15 Юные египтяне 15 У памятника Пушкину в Одессе 15</p>	<p>Д. БЛЫНСКИЙ Сенокос в Разливе (Из поэмы) 16</p> <p>Е. БЛАГИНИНА Песня о вчерашнем дне 17</p> <p>В. БОКОВ Заполночь. Пропели петухи 18 Наша воля 18 Голутвин 19 Мир 19</p> <p>А. БОРОВКОВ Воздушная почта 20</p> <p>Н. БУКИН Песня о Москве 20</p> <p>С. ВАСИЛЬЕВ Коммунист 21</p> <p>К. ВАНШЕНКИН Сибирская невеста 22 В старом городе 23 Купающаяся девушка 23</p> <p>Е. ВИНОКУРОВ Дядя 24 Мы встречались совсем немного 24 Сосед мой, густо щи наперчив... 25 Пишите кровью! 25</p> <p>В. ГОНЧАРОВ Ленин 26</p> <p>Д. ГОЛУБКОВ Яблоки 26</p> <p>М. ГОДЕНКО Лучшее имя 27</p>
--	--

В. ГУРЬЯН		В. ЗАХАРАЕНКО	
Свеча, обыкновенная свеча	27	Земной сигнал	43
В. ГОРДЕИЧЕВ		М. ЗЕНКЕВИЧ	
Оккупация	28	По-старому ведем еще мы счет...	43
Мой выбор	28	Н. ЗАБОЛОЦКИЙ	
Сувенир	29	Врач	44
Ю. ГОРДИЕНКО		Детство	44
Зимняя сказка	30	В. ЗВЯГИНЦЕВА	
В. ГОРДИЕНКО		Он не мог не быть!	45
Прометей	31	Первый зов	46
Н. ГРЕБНЕВ		В. ЗАБЕЛЫШИНСКИЙ	
Пустыня	31	Боль	46
Е. ДОЛМАТОВСКИЙ		В. ИНБЕР	
Спор	32	Горный пейзаж	47
Встреча с горами	33	А. ИВАНОВА	
Горячий дождь	33	Революция	48
Дикари	34	Э. ИОДКОВСКИЙ	
Девушка с кувшином	34	Посреди села из камня высечен	48
И. ДОРОНИН		М. ИСАКОВСКИЙ	
Вечно жить и вечно славиться	35	25 октября 1917 года	49
Б. ДУБРОВИН		У крыльца высокого...	49
Могила Энгельса	35	С. КИРСАНОВ	
А. ДОСТАЛЬ		Я не скажу: над нами пусть не каплет	50
Лесорубы	36	Ты	50
И. ДРЕМОВ		Происшествие	51
Берингов пролив	36	И. КОБЗЕВ	
Ю. ДРУНИНА		Первая любовь	52
Мне счастье казалось...	37	Легенда	53
В каком-нибудь неведомом году...	37	Л. КОНДЫРЕВ	
Е. ЕВТУШЕНКО		Моряна	53
Пахла станция Зима	38	Гора	53
А. ЖАРОВ		А. КОВАЛЕНКОВ	
По дороге в океан	39	Простая повесть	54
П. ЖЕЛЕЗНОВ		О. КОЛЬЧЕВ	
Беседа с бойцами	40	Другу	55
В. ЖУРАВЛЕВ		Я. КОЗЛОВСКИЙ	
<i>Из Казахской тетради</i>		Плащ Дзержинского	56
Мечта	41	Вера	56
Скульптуры	42	Разговор на Люсиновской улице	57
Прицепщице Гюльды	42	Не люби, связистка, нашего комбата...	58
		А. КРОНГАУЗ	
		Боксерские перчатки	58

А. КУДРЕЙКО		А. МАРКОВ	
Военпреды	59	Как суровым и твердым мне быть?.. . . .	72
Двадцать лет	59	Оратор	72
Май в Измайлове	60	Еж	72
М. КУРГАНЦЕВ		М. МАТУСОВСКИЙ	
В комнату через форточку	60	Из цикла «Поездка в Германию»	
В. КУЛЕМИН		«Берзаринштрассе»	73
Высота	61	Ремонт Бранденбургских ворот	73
Девушка шагает по тропинке	61	Под мостом	74
Г. ЛЕВИН		А. МЕЖИРОВ	
Другу, встреченному на фестивале	61	Календарь	75
Н. ЛЕОНТЬЕВ		К. МУРЗИДИ	
Михайло Ломоносов (Из драматической		Народ все сильный долго был безволен...	76
поэмы)	62	С. НАРОВЧАТОВ	
И. ЛИСНЯНСКАЯ		Наш дом	77
Зимой	63	К. НЕКРАСОВА	
Жена	63	Русская осень	78
М. ЛЬВОВ		Готика	78
Сколько нас, нерусских, у России	64	А. НИКИФОРОВ	
Т. ЛИХОТАЛЬ		Балалайка	79
Стихи о хлебе	64	Е. НИКОЛАЕВСКАЯ	
Контора	64	И к тому, что похвалят	79
М. ЛИСЯНСКИЙ		А. НИКОЛАЕВ	
Как не любил он славословий...	65	Меня убили на войне...	80
Аппассионата	65	Турист	80
В. ЛИФШИЦ		Л. ОЗЕРОВ	
Степь	66	Разведка	81
Парижанин	66	Дворец в Крыму	81
В. ЛИСКЕР		А. ОИСЛЕНДЕР	
На пенсию	67	Свидетели	82
В. ЛУЗГИН		В летний зной	82
Золотые жилы	67	С. ОЛЕНДЕР	
К. ЛЯСКО		Яблоня	83
Биография моего поколения	68	К. ОРЕШИН	
Л. МАРТЫНОВ		Маленькие стихотворения	83
Революция	69	Д. ОСИН	
Поэт	69	Есть и в хлебе сегодняшнем...	84
С. МАРШАК		С. ОСТРОВОЙ	
Песня о двух ладонях	70	Портрет	85
Память детства	70	Л. ОШАНИН	
Разговор с внуком	71	Баллада о венгерском студенте	86
Запомним день календаря	71	Марике	87

Б. ПАСТЕРНАК		Б. СЛУЦКИЙ	
В разгаре хлебная уборка...	88	У офицеров было много планов...	103
Ночь	89	М. СКУРАТОВ	
Музыка	89	Тургень	103
М. ПЕТРОВЫХ		Я. СМЕЛЯКОВ	
1942 год	90	Спутник огромной Земли	104
А. ПОМОРСКИЙ		Первая получка	104
Октябрьская песня	90	С. СМИРНОВ	
А. ПРИШЕЛЕЦ		Беспокойство	105
Рубаха	91	До сих пор	105
Охапка сена	91	Незабываемое	106
Б. ПУЦЫЛО		Д. СМИРНОВ	
По дороге на работу	92	У заставы Ильича	107
П. РАДИМОВ		И. СНЕГОВА	
Родина	92	Чего пожелать тебе?	107
В. РЕЗЧИКОВ		В. СОКОЛОВ	
В новом забое	93	Сосед	108
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ		В. СОЛОУХИН	
Я уехал от весны...	94	Земляки	109
Аврал	95	В лесу еловом все не броско...	110
Возвращение	96	А. СОФРОНОВ	
Н. РЫЛЕНКОВ		Спустился вечер над Шанхаем...	111
Я не играл словами, помня...	97	Над Суматрой	111
Снегурочкой с околицы села...	97	Колокольчик	112
Г. САННИКОВ		В. СУББОТИН	
Из цикла «В океане»	98	Крылья	112
Из цикла «Киноварь Ирана»	98	Н. СТАРШИНОВ	
И. СЕЛЬВИНСКИЙ		Буду глиной...	113
Сонет	98	Зловещим заревом объятый...	113
Д. САМОЙЛОВ		И. СТРОГАНОВ	
Из поэмы «Ближние страны»	99	Клайпéда иль Клайпеда	114
М. СВЕТЛОВ		А. СУРКОВ	
Искусство	100	Ты думаешь, это не страшно было...	116
Н. СИДОРЕНКО		И кажется мне иногда	116
Памяти друга	101	Я дверь распахну	117
В. СЕМЕНОВ		Д. СУХАРЕВ	
Колосья	101	Деревня Лужки	118
В. СИКОРСКИЙ		Н. ТИХОНОВ	
Весна	102	27 февраля 1917 года	119
А. СИТКОВСКИЙ		Купельная ода	120
Подготовка	102	Из песен свободы	120
		О России	121

А. ТАРКОВСКИЙ		И. ХАРАБАРОВ	
Чем больше лет ложится мне на плечи...	121	Тайга родила меня...	131
В. ТУШНОВА		Прошу, надо мною не смейся ты...	132
Пусть мне оправдываться нечем...	122	Где жил я и рос...	132
О цветах	122	В. ХАРИТОНОВ	
В. УРИН		Фестивальная	133
Бурлит	123	Коммунист	133
Б. ФИЛИППОВ		Я. ХЕЛЕМСКИЙ	
Южный вечер	123	Да, нелегко быть в головном отряде...	134
А. ФАТЬЯНОВ		Бухара	134
Я всем сердцем люблю этот город	124	Ю. ЧЕРНОВ	
Ой ты светлая, ясная ноченька	124	1917-й	135
В. ФЕДОРОВ		Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ	
Иду, в молву стоустую...	125	Новоселу Сибири	136
Наш путь...	125	По-эвенкски, по-хакасски	136
А. ФИЛАТОВ		Ирис	137
В рабочем кабинете Ильича	126	Б. ШАХОВСКИЙ	
На бывшей Рогожской заставе. (Отрывок из поэмы)	126	Пусть порой жестки и угловаты...	137
В. ФИРСОВ		М. ШЕХТЕР	
Впереди — дороги	127	Ручей	138
В. ФАЙНБЕРГ		А. ШПИРТ	
Главный цвет	127	Солдат	138
Н. ФЛЕРОВ		Е. ШЕВЕЛЕВА	
Поколение	128	Дача в Подмосковье	139
Г. ФЛОРОВ		Л. ЩИПАХИНА	
Две звезды	129	Юношеское	139
Придавило сосной соболенка	129	С. ЩИПАЧЕВ	
Ф. ФОЛОМИН		Та истина, что вертится земля	140
Студеный ветер вскинул в небо флаги...	130	В доме отдыха	140
И. ФРЕНКЕЛЬ		Ю. ЯКОВЛЕВ	
На фестивальном шествии	130	Хромой мальчик	141
		А. ЯШИН	
		В дни фестиваля	142
		Солнце марта в степь вошло	142
2			
Н. ХИКМЕТ		Л. СТЕФАНОВА (Болгария)	
Моя молодость	145	Баллада. (Перевел Д. Холендро)	147
Письмо Давиду Ойстраху	146	Эван МАККОЛ (Великобритания)	
Старый вяз	146	Песня докера. (Перевела В. Тушнова)	148

<i>Питер ТЕМПЕСТ (Великобритания)</i>		<i>Хайа КАДМОН (Израиль)</i>	
Руки. (Перевел Л. Мартынов)	148	Скорбь прошлых дней тащить не станем за собой. (Перевел А. Големба)	156
<i>Карло Аугусто ЛЕОН (Венесуэла)</i>		<i>Пьер ПАЗОЛИНИ (Италия)</i>	
Земля казалась далекою волной... (Перевел с испанского О. Савич)	150	Плач экскаватора. (Из поэмы). (Перевел Е. Евтушенко)	157
Вернувшись из изгнания. (Перевел О. Савич)	150	<i>Эми СЯО (Китай)</i>	
<i>Ле КИМ (Вьетнам)</i>		Из города вечной весны. (Перевел М. Вершинин)	158
Московская ночь. (Перевел Л. Ошанин)	151	<i>Сидди Чаран ШРЕСТА (Непал)</i>	
<i>Рене ДЕПЕСТР (Гаити)</i>		Сынам Непала. (Перевел Дм. Сухарев)	160
Черная руда. (Перевел с франц. П. Антокольский)	152	Наташе. (Перевел Дм. Сухарев)	160
Правда ли это? (Перевел с франц. П. Антокольский)	153	<i>Анджей МАНДАЛИАН (Польша)</i>	
Ночь линчевателя. (Перевел с франц. П. Антокольский)	153	Первая любовь. (Перевел Э. Иодковский)	161
<i>Готфрид ГЕРОЛЬД (ГДР)</i>		<i>Шарль ДОБЖИНСКИЙ (Франция)</i>	
Клятва. (Перевел Л. Гинзбург)	154	В зеркале Москвы. (Перевел И. Кобзев)	162
<i>Гельмут ПРЕЙСЛЕР (ГДР)</i>		<i>Станислав НЕЙМАН (Чехословакия)</i>	
При чтении о новых испытаниях водородной бомбы. (Перевел Л. Гинзбург)	154	Уверенность. (Перевел К. Ковалев)	163
<i>Никифорос ВРТАКОС (Греция)</i>		<i>Пракседес УРРУТИА (Чили)</i>	
Два стихотворения		Из поэмы «Песнь любви твоей мечте о мире». (Перевел Я. Хелемский)	164
Все ради любви к человеку	155	<i>Десанка МАКСИМОВИЧ (Югославия)</i>	
Голос погибшего. (Перевел М. Матусовский)	155	Больно за человека. (Перевела В. Тушнова)	166
<i>Шушил ИШВАРДАС (Индия)</i>			
Глядя на фотографию негритенка, задержанного полицией в Клифтоне. (Перевел Р. Сефа)	156		

3

<i>П. АНТОКОЛЬСКИЙ</i>		<i>М. ГЕРАСИМОВ</i>	
Владимир Луговской	169	В тайге	189
<i>В. ЛУГОВСКОЙ</i>		В лесу	189
Из книги «Синяя весна»		Бронепоезд качался...	190
Июньская ночь	177	<i>В. КИРИЛЛОВ</i>	
Друзьям тридцатого года	178	Из стихов о Сибири	190
На булыжной мостовой	181	Новый Кавказ	191
Костры	183	Метро	191
Ночной патруль	185	<i>К. ПЕТРОВ</i>	
<i>В. КАЗИН, Г. САННИКОВ</i>		Петр Орешин	192
О двух поэтах Октябрьской революции...	187	<i>П. ОРЕШИН</i>	
		Бугуруслан. (Из поэмы «Чапаев»)	193

М. ЖОХОВ		Вл. ЛИФШИЦ	
Боец революции	194	Павел Шубин	202
Г. ФЕЙГИН		П. ШУБИН	
Довольно ждать	195	<i>Из фронтовой тетради</i>	202
Красная молодежь	195	Ополченцы	202
М. ШЕХТЕР		Я не предмет воспоминаний...	203
Слово о земляке и друге	196	Май 1942 года	203
М. ГОЛОДНЫЙ		С. ТРЕГУБ	
2 февраля 1943 года	198	Неопубликованные стихи Вадима Стрель-	
Мы входим в город неизвестный...	198	ченко	204
И. СЕРЕБРЯНЫЙ		В. СТРЕЛЬЧЕНКО	
Эзра Финнинберг	199	Калильщик	205
Э. ФИНИНБЕРГ		Грузчик	205
Матрос	199	Ливень	206
Так я живу. (Перевел В. Левик)	200	Сердце Котовского	206
Единственная, дорогая... (Перевел С. По-			
делков)	201		

Редакторы Г. Коренев, В. Фирсов.
Оформление художника Ю. Боярского.
Техн. редактор А. Лилъе.

* * *

Издательство «Московский рабочий»,
Москва, проезд Владимирова, 6.

Л54473. Подписано в печать 25/X 1957 г.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бум. л. 6,75.

Печ. л. 22,14. Уч.-изд. л. 16,8.

Тираж 30.000. Цена 8 р. 50 к. Зак. 1036

Типография изд-ва «Московский рабочий».
Москва, Петровка, 17.

К. МУРЗИДИ
С. НАРОВЧАТОВ
С. НЕЙМАН
К. НЕКРАСОВА
А. НИКИФОРОВ
А. НИКОЛАЕВ
Е. НИКОЛАЕВСКАЯ
Л. ОЗЕРОВ
А. ОЙСЛЕНДЕР
С. ОЛЕНДЕР
П. ОРЕШИН
К. ОРЕШИН
Д. ОСИН
С. ОСТРОВОЙ
Л. ОШАНИН
П. ПАЗОЛИНИ
Б. ПАСТЕРНАК
М. ПЕТРОВЫХ
С. ПОДЕЛКОВ
А. ПОМОРСКИЙ
Г. ПРЕЙСЛЕР
А. ПРИШЕЛЕЦ
Б. ПУЦЫЛО
П. РАДИМОВ
В. РЕЗЧИКОВ
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Н. РЫЛЕНКОВ
О. САВИЧ
Д. САМОЙЛОВ
Г. САННИКОВ
М. СВЕТЛОВ
И. СЕЛЬВИНСКИЙ
В. СЕМЕНОВ
И. СЕРЕБРЯНЫЙ
Р. СЕФ
Н. СИДОРЕНКО
В. СИКОРСКИЙ
А. СИТКОВСКИЙ
Б. СЛУЦКИЙ
М. СКУРАТОВ
Я. СМЕЛЯКОВ
С. СМИРНОВ
Д. СМИРНОВ
И. СНЕГОВА
В. СОКОЛОВ

В. СОЛОУХИН
А. СОФРОНОВ
Н. СТАРШИНОВ
Л. СТЕФАНОВА
В. СТРЕЛЬЧЕНКО
И. СТРОГАНОВ
В. СУББОТИН
А. СУРКОВ
Д. СУХАРЕВ
Э. СЯО
А. ТАРКОВСКИЙ
П. ТЕМПЕСТ
Н. ТИХОНОВ
С. ТРЕГУБ
В. ТУШИНОВА
В. УРИН
П. УРРУТИА
В. ФАЙНБЕРГ
А. ФАТЬЯНОВ
В. ФЕДОРОВ
Г. ФЕЙГИН
А. ФИЛАТОВ
Б. ФИЛИППОВ
Э. ФИНИНБЕРГ
Н. ФЛЁРОВ
В. ФИРСОВ
Г. ФЛОРОВ
Ф. ФОЛОМИН
И. ФРЕНКЕЛЬ
И. ХАРАБАРОВ
В. ХАРИТОНОВ
Я. ХЕЛЕМСКИЙ
Н. ХИКМЕТ
Д. ХОЛЕНДРО
Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ
Ю. ЧЕРНОВ
Б. ШАХОВСКИЙ
Е. ШЕВЕЛЕВА
М. ШЕХТЕР
А. ШПИРТ
С. ШРЕСТА
П. ШУБИН
Л. ЩИПАХИНА
С. ЩИПАЧЕВ
Ю. ЯКОЕЛЕВ
А. ЯШИН